

Рашель ХИН

# Не ко двору

*избранные  
произведения*



Рашель Хин

**Не ко двору. Избранные  
произведения**

«Алетейя»

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Хин Р. М.**

Не ко двору. Избранные произведения / Р. М. Хин — «Алетейя»,

ISBN 978-5-906910-28-8

Рашель Мироновна Хин (1863–1928) – незаслуженно забытая российская писательница, драматург, мемуаристка. На рубеже веков Рашель Хин держала модный литературный салон в Москве, ставший местом паломничества культурной интеллигенции Серебряного века. Автор двух сборников повестей и рассказов, Хин печаталась в ведущих отечественных периодических изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Вместе с очерком жизни и творчества писательницы в книге представлены ее художественные произведения, эссе и мемуары, ранее не переиздававшиеся.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-906910-28-8

© Хин Р. М.  
© Алетейя

## Содержание

“Я люблю слушать шаги времени”	6
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# **Рашель Хин**

## **Не ко двору. Избранные произведения**

Вступительная статья, комментарии *Л. И. Бердников*

Составители

*М. Б. Авербух, Л. И. Бердников*

## “Я люблю слушать шаги времени” Жизнь и творчество Рашели Хин

Лев БЕРДНИКОВ

Есть в русской культуре знакомые незнакомцы. Многим памятно стихотворение Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) с посвящением “Р. М. Хин”:

Я мысленно вхожу в ваш кабинет:  
Здесь те, кто был, и те, кого уж нет,  
Но чья для нас не умерла химера;  
И бьется сердце, взятое в их плен...  
Бодлера лик, нормандский ус Флобера,  
Скептический Франс, святой сатир – Верлен,  
Кузнец – Бальзак, чеканщики – Гонкуры...  
Их лица терпкие и четкие фигуры  
Глядят со стен, и спят в сафьянах книг.  
Их дух, их мысль, их ритм, их крик...

Едва ли у современного читателя волошинское посвящение вызовет какие-либо ассоциации. Между тем, речь идет здесь об известной в свое время личности, драматурге, мемуаристке Рашели Мироновне Хин (1863–1928). Имя её, к сожалению, долгое время было незаслуженно забытым<sup>1</sup>. Между тем, на рубеже веков она держала модный литературный салон в Москве, ставший местом паломничества передовой интеллигенции Серебряного века. Она была ученицей Ивана Тургенева, печаталась в ведущих русских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Авторитет Хин был очень высок. Она общалась с Эмилем Золя, Эдмоном Гонкуром, Ги де Мопассаном, Анатолем Франсом, Октавом Мирбо, Георгом Брандесом, Людвигом Галеви, а позднее переводила произведения некоторых из них и писала статьи об истории французской литературы.

Рашель Хин родилась в уездном городе Горки Могилёвской губернии, где евреи начали селиться с начала XVII века, а к концу XIX века число их составляло уже около 45 % населения. Происходила она из семьи преуспевающего и вполне ассимилированного еврейского фабриканта Мирона Марковича Хина (умер в 1896). Кстати, фамилия Хин “говорящая”: она восходит к “Кхеупе” (*идиши*) и образована от древнееврейского “Неуп”, что означает “очарование, симпатия”. И едва ли случайно литературные критики называли её талант “симпатичным”, а саму Хин “глубоко симпатичной писательницей”.

Отец Рашели не отличался набожностью, не утруждал домочадцев соблюдением иудейских обрядов, зато вознамерился дать детям (у Рашели были брат Марк и сестра Анна) самое широкое образование. Нам ничего не ведомо о её домашнем обучении, однако в одной из ранних повестей она рассказывает о детских и отроческих годах героини, и там угадываются автобиографические черты: о том, как, научившись читать, она “кинулась на книги, как голодный

---

<sup>1</sup> Только в наши дни появились работы о Р.М.Хин: Balin C.B. To Reveal Our Hearts. Jewish Woman Writers in Tsarist Russia. Detroit, 2000, P. 84–123; Глейзер А. Рашель Мироновна Хин и её бегство от “торговки” // Тендерные исследования, № 9, 2003; Бердников Л.И. Рашель Хин-Гольдовская: крещение в жизни и литературе // Лехаим, № 7 (231), июль, 2011; Чайковская И.И. Забытое имя: Рашель Хин-Гольдовская // <http://www.chayka.org/>; Лившиц В. “Я мысленно вхожу в Ваш кабинет...” // Заметки по еврейской истории, № 1 (171), январь, 2014. См. также наши очерки: Крещение без прощения // Новый берег, № 52, 2016; Пульс времени // Нева, № 6, 2016; “Волнует эхо здесь звучащих слов...” // Литературный салон Рашели Хин // Новый журнал, № 283, 2016; Бодрая сила // Крещатик, № 3 (73), 2016; Не ко двору // День и ночь, № 4, 2016.

на лакомую пищу»; о наставнице с характерным старомосковским произношением, которая помогла ей в совершенстве овладеть русской речью. (Известно, что за её говор Иван Тургенев потом будет называть её «московкой»). В раннем отрочестве она писала сочинения о путешествиях в утопическую счастливую страну или вариации на тему: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Впрочем, она преуспела и в знании иностранных языков, занималась математикой и естественной историей и была подготовлена к VI классу гимназии. Родители приобщали её и к европейской культуре: известно, что какое-то время она гостила в Зальцбурге.

Семья купца II-й гильдии Мирона Хина переехала из черты оседлости в Москву, когда Рашель была ещё подростком. Столичный город, открывал для людей, жаждущих знаний, фантастические возможности. Четырнадцать лет отроду Рашель поступает в III-ю Московскую женскую гимназию (что на Большой Ордынке, д. 21), о счастливых годах в которой (когда «небо было голубым, и птицы вечно пели») она будет потом вспоминать с неизменным трепетом. В глазах подруг Хин была «красавица Рашель», «умница», «талант». В гимназии были замечательные преподаватели. С особым пиететом отзывалась Рашель об учителе словесности Филатдельфе Петровиче Декапольском (1845–1907). Этнический еврей, он стал её первым наставником и привил деятельную любовь к русскому языку и словесности (интересно, что на его надгробии на Ваганьковском кладбище рядом с годом рождения был изображен магендовид, а с годом смерти – крест). Впоследствии он преподавал русский язык в III-м Московском кадетском корпусе, а затем и в Александровском военном училище, дослужившись до чина статского советника. Ну и, конечно, вспоминала она лекции по истории Василия Осиповича Ключевского (1841–1911): «То был такой перл ума, исторической перспективы, богатства языка, что этого нельзя забыть». Обучалась она в гимназии французскому, немецкому и латинскому языкам, а также географии, математике, естествознанию, физике, рисованию, гимнастике и пению. После окончания гимназии она получила аттестат с правом быть домашней учительницей.

В 1880 году Рашель едет в Петербург и поступает на Высшие медицинские курсы, учрежденные в 1876 году военным министром Дмитрием Милютиным. Здесь преподавали знаменитый химик Александр Бородин, медики Пётр Сущинский, Вениамин Тарновский, Карл Раухфус и другие профессора Военно-медицинской академии и университета. Особое внимание уделялось специальным «дамским» предметам: акушерству, женским и детским болезням. Обучение было рассчитано на пять лет (хотя в 1882 году, в связи со свёртыванием реформ Александра-Освободителя, курсы были закрыты). Наша героиня, однако, вскоре оставила медицину, поняв, что лекарское дело для неё, и «через три, четыре, пять месяцев – обращается в самую обыкновенную кислятину».

Зато девушка утвердилась в мысли, что её влекут гуманитарные науки, а историко-филологическое образование она непременно должна поступить в Коллеж де Франс. Это основанное в XVII веке в Париже учебное заведение отличалось полной свободой преподавания, публичностью, общедоступностью и, что немаловажно, бесплатностью обучения. Рашель вспоминает «елейно-торжественный тон» профессора словесных наук Эльма Мари Каро (1826–1887), автора книги «Материализм и наука», «на лекции которого съезжалось столько элегантных дам, что в его дни аудитория... принимала вид светского салона». В формировании её личности большую роль сыграли философ Адольф Франк (1809–1893), а также филолог и писатель Эрнст Ренан (1823–1892). Известно также, что курс истории Древнего Рима и раннего христианства преподавал Гастон Буассье (1823–1908); средневекового французского языка и литературы – Гастон Парис (1839–1903); истории религий – пастор Альбер Ревиль (1826–1906); истории морали – Луи Фердинанд Альфред Мори (1817–1892). В Сорбонне она слушала лекции историка литературы Альфреда Жана Мезьера (1826–1915). «Разобраться в запутанной сети курсов по истории, литературе и философии» Хин помог Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), встреча с которым стала для неё чрезвычайно важной. Хин посчастливилось тесно с

ним общаться в Париже в 1880–1881 гг. И маститый писатель советовал пытливой курсистке не разбрасываться, но выбирать определённую программу, и сам указал на некоторых, по его мнению, интересных профессоров. А при встречах, даже мимолётных, всегда осведомлялся о её занятиях, а иной раз, невзначай, как бы в шутку, экзаменовал её. И Рашель постепенно преодолела страх перед признанным мэтром и перестала конфузиться.

Сколько талантов, начинающих и непризнанных, стучалось гостеприимную дверь парижской квартиры Тургенева! И Иван Сергеевич, с его дипломатической тонкостью, не желая никого обижать, старался ободрить даже завязтых графоманов и награждал их добрыми отзывами. А потом сам же над собой иронизировал: “Мои рекомендации, как фальшивый пачпорт (он любил так произносить это слово) всегда имеют обратный эффект”. Зато при встрече с подлинными дарованиями искренне радовался. Тут он уже не говорил любезности, а подвергал критике каждое выражение, каждое слово.

Хин советовалась с Тургеневым не только по вопросам творческим, но и поверяла ему дела личные, зная, что получит добрый и умный совет. Как-то она рассказала ему, что её сестра Анна, служившая гувернанткой у графов Шереметевых, приняла христианство. Отец Рашели настаивал, чтобы она уговорила сестру отречься от православия и вернуться в семью, получив тем самым прощение. Анна, однако, осталась непреклонной, чем разбила сердце Мирона Марковича, который не мог взять в толк, что по законам того времени переход из православия обратно в иудаизм был уголовным преступлением. Иван Сергеевич поступка сестры Хин не одобрил, прозелитизм вообще был ему чужд, как противна была ему и религиозная нетерпимость. Потому, когда Рашель в июне 1881 года написала ему, что её не принимают в России ни на одну учительскую должность, Тургенев дал ей, иудейке, самую лестную рекомендацию.

И в памяти нашей героини всегда звучали слова Тургенева, сказанные при их последней встрече: “Жизнь человеческая – непрерывное прощанье: прощаешься с надеждами, мечтаниями, идеалами, прощаешься с дорогими людьми, прощаешься даже с самыми постоянными нашими спутниками – с врагами и завистью”. Впоследствии она “благоговейно” посвятит сборник своих рассказов и повестей “Под гору” (1900) “незабвенной памяти Ивана Сергеевича Тургенева”.

Судьбоносной для Хин оказалась встреча с юристом Онисимом Борисовичем Гольдовским (1865–1922). К тому времени она уже была замужем за помощником присяжного поверенного Соломоном Григорьевичем Фельдштейном, от которого имела двухлетнего сына Михаила. Рашель сразу же пленила сердце Онисима, да и сама безоглядно влюбилась в этого красавца и умницу.

Гольдовский был уроженцем “Литовского Иерусалима” Вильно, но ещё в раннем детстве переехал вместе родителями в Москву. Отец, преуспевающий и вполне эмансипированный купец второй гильдии, вознамерился дать сыну самое широкое образование и определил его в III-ю московскую мужскую гимназию. Интересно, что неподалёку, в III-ей женской гимназии, училась тогда и Рашель Хин.

Онисим был от природы человеком разносторонне одарённым (был особо способен к языкам, играл на фортепьяно), потому, наверное, не сразу определился с выбором профессии. В восемнадцать лет он поступает в Московский университет, сначала на физико-математический факультет, но уже через год, разочаровавшись в точных науках, переводится на историко-филологическое отделение, а затем, после сдачи в 1885 году годового экзамена, становится студентом-юристом. Несомненно, что в выборе им профессии был “повинен” дядя, Владимир Осипович Гаркави (1846–1911), сам выпускник юрфака. Известный адвокат, один из основателей Общества распространения просвещения среди евреев России, лидер Московской еврейской общины, Гаркави оказал на юношу огромное духовное влияние. Современники отмечают и присущие семье дяди любовь к России и русской культуре, что передалось и племяннику.

После окончания университета Онисим, как и первый муж Хин, через некоторое время стал помощником присяжного поверенного князя Александра Урусова (1843–1900). Этот замечательный человек, “адвокат по призванию” соединил в себе широчайшую эрудицию, вкус к книге, воспринятый им европеизм и творческий темперамент художника. Онисим вспоминал, что “расовая ненависть до такой степени была чужда его [Урусова – Л.Б.] благородной натуре, что антисемиты вызывали в нём чувство брезгливого сожаления, как люди, одержимые непристойной манией. Их жалко, как больных, но болезнь противная”. Урусов оценивал людей исключительно по их способностям, потому, наверное, в числе его ассистентов оказалось немало иудеев, о защите прав которых он не устал радеть (заметим в скобках, что, несмотря на все законодательные препоны, евреи в конце XIX века составляли 43 % от общего числа российских помощников присяжных поверенных).

Самостоятельно мыслящая и европейски образованная Рашель Хин оказалась *духовно* близка Онисиму. Однако их браку воспрепятствовал категорический отказ мужа дать ей развод. В 1894 году уставшая от попыток развестись полюбовно Рашель Мироновна направляется в Литву и принимает крещение. В этом, казалось бы, нет ничего необычного. В России в XIX веке, по данным Святейшего Синода, православие приняли более 69 тысяч российских иудеев; еще 12 тысяч стали католиками и более 3-х тысяч протестантами. К 1917 году число крещений евреев возросло до 100 тысяч человек. Но даже это, казалось бы, внушительное число отступников составляло менее 2 % от общего количества евреев империи. Показательно и то, что наибольшее число крещений (в среднем в год по 2290 евреев) падает на 1851–1855 годы. А это было время недоброй памяти “ловцов” и “пойманников” малолетних кантонистов, когда “святым духом” их осеяли, как правило, по принуждению. Всего же за 1827–1855 годы было крещено более 33-х тысяч евреев, будущих николаевских солдат.

Не всегда, правда, евреи России крестились из-под палки. Часто к этому шагу их толкало желание обрести элементарные гражданские права в обход антисемитского законодательства. Американский историк Майкл Станиславский наметил несколько типологических групп российских иудеев, принявших тогда христианство: одни руководствовались стремлением к образовательному и профессиональному росту; другие принадлежали к высшей буржуазии и не желали законодательных препон в их предпринимательской деятельности; третьи, будучи преступниками, надеялись на амнистию; четвертые были искренними приверженцами новой веры; и, наконец, пятые нуждались материально и перешли в новую веру от безысходности. Историк говорит также о евреях, изменивших веру, дабы сочетаться браком с лицом христианского исповедания, хотя и не выделяет их в отдельную группу. Действительно, в начале XIX века известны случаи, когда сразу же после обращения в лютеранство мужчины-евреи заключали браки с христианками.

Случай крещения Рашель Хин не ординарный он тоже связан с супружеством, только вот не с заключением нового брака, а с... прекращением старого, причем другого пути его расторжения просто не оказалось. (Заметим в скобках, что случай этот не единичный: известно, что позднее Софья Исааковна Дымшиц, намеревавшаяся выйти замуж за Алексея Н. Толстого, крестилась в православную веру, дабы расторгнуть брак с прежним супругом-иудеем.) Вот и Хин приняла католичество, и её брак автоматически распался: браки между католиками и евреями не признавались ни католической церковью, ни русским законом. Почему же она крестится именно по католическому обряду? Если учесть, что католический прозелитизм карался в России лишением собственности, не говоря о заключении в монастырь, покаянии и прочих мерах увещательного характера, такой её выбор трудно назвать случайным.

Американский литературовед Кэрл Бэйлин отмечала, что Хин ни разу не обращается к католицизму в своём дневнике. На самом деле, это не так. Писательница восторгается в дневнике католическими обрядами, в которых видит “мягкое, таинственное, надземное”. И вспоминает Рим, “длинные складки и драпирующие фигуру белые, лиловые и пурпурные мантии,

шлейфы, закрывающие ноги и дающие иллюзию чего-то скользящего по земле, и возносящиеся туда, ввысь – моления о нас, грешных. Сухие, бритые, точёные черты, тонкие, изящные, благословляющие руки, благочестиво склонённые гордые головы”. Очевидно и то, что европеизм Хин был в значительной степени замешан на Франции, с её католическими духовными ценностями, затверженными ею в Коллеж де Франс и Сорбонне.

Характерно, что вслед за ней крестился и Онисим: чтобы получить право сочетаться браком с католичкой, он должен был перестать считаться евреем и стал протестантом. Обвенчались же Рашель и Онисим в городке Толочине, “у старого ксёндза”, в 1900 году.

И вот что примечательно: христианин Гольдовский, казалось, сразу должен был бы освободиться от существовавших для евреев-адвокатов ограничений и приобретал возможность разом выйти из помощников в присяжные поверенные. Однако таковым правом он не воспользовался, давая тем самым понять, что в своём “романическом” крещении материальной выгоды не искал. И оставался в рядах помощников до самого конца 1905 года, когда все еврей-юристы, отбывшие пятилетний стаж помощничества, вышли в полноправные члены адвокатского сословия.

Тандем Рашели и Онисима оказался исключительно счастливым. Они идут по жизни рука об руку. Так у них повелось: Хин парит в эмпиреях, а прозой жизни занимается Стась (так она называла Онисима): ну можно разве доверить “небожительнице” Рашели покупку дома?! Да и достаток Гольдовский приносил семье немалый.

Ведь адвокатом он был более чем успешным и наряду с защитой бесправных неимущих, брался за политические и выгодные экономические дела. Современники говорили о нём, как об “утомлённом деньгами и славой Гольдовском”. Он и впрямь защищал интересы крупных магнатов в приобретении прав на доходные концессии, в частности, лоббировал строительство железнодорожных веток Транссибирской Магистральной. Гольдовскому удалось через суд сохранить недвижимость за бывшим Директором Департамента полиции, либералом и юдофилом Алексеем Лопухиным, подвергнутому обструкции, поскольку он обвинялся в государственной измене: выдал эсерам тайного агента полиции, пресловутого Азефа.

Хин принимала деятельное участие во многих политикокультурных проектах мужа. Интересен сборник “Против смертной казни” (М., 1906) под редакцией Онисима Борисовича. Помимо выступлений на эту тему российских корифеев Владимира Соловьёва, Василия Розанова, Сергея Булгакова, Петра Кропоткина, Василия Немировича-Данченко и др., Гольдовский вознамерился представить в нём общественное мнение всей Европы, выраженное её признанными авторитетами, знаменитыми учёными, писателями и политическими деятелями, Октавом Мирбо, Георгом Брандесом, Анатолем Франсом, Фредериком Пасси, Эмилем Лораном и др. Здесь же опубликован и выразительный рассказ Рашели Хин “Она придёт!”, живописующий навязчивые кошмары и нравственные мучения одного неумолимого судьи, не способного самолично выполнить им же вынесенный смертный приговор.

Интересен и литературно-художественный сборник “Помощь евреям, пострадавшим от неурожая” (М., 1901) под редакцией Гольдовского. Помимо произведений Максима Горького, Владимира Короленко, Николая Гарина-Михайловского, Константина Бальмонта, Семёна Юшкевича, стихотворения Семёна Надсона “Я рос тебе чужим, отверженный народ...”, обращает на себя внимание остропублицистическое письмо Эмиля Золя “В защиту евреев” в переводе Рашели Хин. Супруги собирали материалы и для несостоявшегося, к сожалению, сборника “Рассказы еврейских писателей”, хотя и сагитировали Горького на самую горячую поддержку своего начинания. Они и сами пестовали еврейские таланты: Гольдовский, в частности, материально поддержал писателя Семёна Юшкевича (1868–1927), который, в свою очередь, сделал его прототипом героя одной из своих пьес.

Бедственному положению евреев в империи посвящена книга Гольдовского “Евреи в Москве. Страница из истории современной России” (Берлин, 1904). Речь идёт здесь о высылке

из столицы по приказу великого князя Сергея Александровича огромного числа иудеев, в том числе тех, кто жили там по 20–30, а то и по 40 лет. Полиция свирепствовала, устраивая ежедневные и еженочные облавы, выхватывая из толпы на улицах людей, даже только похожих на евреев. А изобличитель иудея-нелегала поощрялся суммой, равной награде за донос на двух грабители (!). “Измученное и раскрытое беде еврейское сердце не вмещает горя!” – восклицает автор.

Однако, подчёркивает Гольдовский, репрессиям подверглись даже и не столь многочисленные оставшиеся в Москве иудеи. Он свидетельствует о запрете властей открыть синагогу на Солянке, о закрытии, несмотря на ходатайства еврейской общины, 9 молелен, Александровского еврейского ремесленного училища, школы Талмуд-Торы на Солянке и т. д. А чего стоит принуждение евреев указывать на вывесках города, помимо фамилий, свои уничижительные имена: Шлёмка, Йоська, Срулька, причём крупным жирным шрифтом! Или же в официальных документах непременно писать “Еврей такой-то”, заменяя тем самым пресловутую жёлтую звезду на средневековых плащах. “Что это как не систематическое опозорение целого класса тружеников! – восклицает автор. – Человеческий разум отказывается постигнуть, как можно жить одновременно в конце XIX столетия и в эпоху Испанской инквизиции... почему затмение сердец так продолжительно, и где загадка этой бесконечной злобы, изобретательности и неослабевающей по отношению к измождённому, униженному, поверженному в прах брату, который поклоняется тому же Богу”.

Гольдовский был убеждённым либералом, и еврейский вопрос служил для него инструментом борьбы с царской реакцией вообще. Он стоял у истоков партии Конституционных демократов и в 1904 году отправился в Петербург, где будущее России обсуждали 118 ведущих политических деятелей под председательством Ивана Петрункевича, Петра Милюкова и Максима Винавера. Вошёл Гольдовский и в возглавляемое Павлом Милюковым Центральное бюро “Совета союзов” – политическую организацию прогрессивной интеллигенции, созданную на съезде 8–9 мая 1905 года в Москве и объединявшую 14 профессионально-политических союзов.

Царский манифест был воспринят Гольдовскими с необыкновенным воодушевлением. “Когда я, задыхаясь от радостных слёз, дочитывала *вслух* эти чудотворные слова, записывает Хин в дневнике 17 октября 1905 года, я себя не узнавала. И не я одна, а все мы. Мы плакали, целовались, смеялись. Мы наскоро оделись... Улицы были неузнаваемы... У всех радостные лица...

У всех в руках манифест. Читали группами”.

Но вскоре Рашель и Онисим стали непосредственными свидетелями кровопролития в Москве, учинённого чёрной сотней, науськанной на избивание интеллигентов и евреев. Дома они укрывали раненного громилами студента, чудом уцелевшего от нападения разъярённых охотнорядцев. В окна их квартиры полетели камни. И только драгуны, вызванные к месту происшествия знакомым околоточным, спасли семью от неминуемой гибели.

И вот охотнорядцами убит революционер Николай Бауман, и Онисим Борисович в составе делегации от Совета Союзов едет к московскому генерал-губернатору, просит, настаивает, требует, чтобы на его похоронах не было ни полиции, ни драгунов, ни казаков; утверждает, что рабочие будут сами сохранять порядок. Гольдовские наблюдают за процессией с балкона гостиницы “Националь”. “Этого никогда нельзя забыть. И описать нельзя! – восклицает Рашель, Невиданное зрелище. Процессия... тянулась целый час. Участвовало в ней, говорят, 100 000 человек...

Флаги, флаги, флаги!”.

Однако в том же 1905 году, когда революционные события вызвали небывалый подъём реакции и по империи прокатилась новая волна погромов, Гольдовские решили оставить Россию и уехать за границу. Рашель задержалась там надолго, а вот Онисим вернулся домой уже

через год. И причиной тому стало, как потом узнала Хин, новое сердечное увлечение мужа, о чём, однако, она в своём дневнике предпочла не распространяться.

Напротив, в 1914 году, она, оглядываясь назад, так отзовется об Онисиме: “27 лет тому назад он имел несчастье влюбиться в чужую жену и взвалил на свою спину её, её ребёнка, а затем мало-помалу – выросла целая семья – избалованная, капризная, требовательная, которая поглотила его труд, его вкусы, его желания. Он всех любил, на всех работал... Вот как приходится платиться за любовь к чужой жене”. А 5 октября 1914 года Рашель, характеризуя мировую войну, как “подлую бойню”, неожиданно выдаёт сокровенное: “Хоть бы дома был мир, хоть бы в *семьях!* Везде и всюду раздор! У нас, например”.

Намёк писательницы станет понятным, если *учесть*, что по прошествии десятилетий их супружеская пара смотрелась уже не вполне гармонично. Литератор Ариадна Тыркова-Вильямс увидела их на вечере у Лидии Лепёшкиной в мае 1911 года: “Тучная, скучная Мте Гольдовская, уже совсем старуха, а рядом муж, розовощёкий, упитанный сытостью, довольный собой и с каким-то блудливым взглядом”. А умалчивала Хин о том, что хотя по “полному и законному праву” она оставалась женой Гольдовского, её благоверный завёл другую семью, которой, равно как и ей, отдавал с лихвой свой труд, вкусы, желания, душевные силы. Было горько и мучительно делить её мужа с этой новой семьёй.

А избранницей Гольдовского стала юная скрипачка Лея Любошиц (1885–1965), с которой он сошёлся в 1906 году. Юная подруга Гольдовского воспитывалась в семье профессиональных музыкантов, и музыка, и только музыка, занимала все её труды и дни. Уроженка Одессы, она в восьмилетнем возрасте пленила своей игрой виртуоза Леопольда Ауэра, училась в Санкт-Петербургской консерватории, по окончании которой получила Золотую медаль. Восхищённый миллионер Лазарь Поляков подарил ей скрипку Амати. Лея с блеском выступала на музыкальных вечерах и концертах, не только в России, но и в Восточной Европе, играла даже при Императорском Дворе. Онисим Борисович приобрёл для новой семьи квартиру в Москве. Любошиц родила Гольдовскому сыновей, Юрия и Бориса, и дочь Ирину.

Гольдовский горячо приветствовал Февральскую революцию. Слова “Керенский”, “Милюков” не сходили с его губ. Запись Хин в дневнике от 1 марта 1917 года: “Онисим Борисович приехал из Петрограда. Он *всё это* видел. Страшно возбуждён, радостен, помолодел. Говорит, что одно то, что он *жил в эти дни* — есть уже величайшее счастье. Говорит, что энтузиазм Петербурга неописуем”. Возбуждённо-радостное настроение переживала и Рашель, записавшая в дневнике: “Все ликуют. Оно и понятно. Сколько накопилось в душах обиды, возмущения, ненависти... Теперь и умереть не страшно... Мы видели зарю свободы. Наши дети и внуки будут жить в свободной России... Теперь такие речи слышатся с утра до ночи из самых разнообразных кругов московской интеллигенции... Все увлечены превращением рабской “Пошехонии” в свободнейшую на земном шаре страну... *Всё это до того нереально...* На чём всё это держалось? Где же эти незыблемые *устои*? Почему их никто не защищает? Императорские стрелки, гусары, драгуны, казаки? Неужели это была только балетная декорация вокруг картонного дуба?.. Толкнули ногой – всё рассыпалось, провалилось... Слишком, слишком всё головокружительно, неправдоподобно... и *потому страшно*. Забегал Бальмонт. Он в экстазе. Не человек, а пламень. Говорит: Россия показала миру пример бескровной революции... Подождите! Революции, начинающиеся бескровно, обыкновенно становятся самыми кровавыми”...

О приходе же к власти большевиков Гольдовский сказал: “Эта сумасшедшая вакханалия не может продлиться долго”. Между тем, новые хозяева страны укрепились всерьёз и надолго, и в его, Гольдовского, услугах никак не нуждались. Мало того, он, маститый адвокат, был квалифицирован как эксплуататор и разом лишился права держать прислугу; в доме остановили “буржуйский” лифт, так что Онисиму Борисовичу (а у него было слабое сердце) приходилось карабкаться на пятый этаж пешком; закрыли и парадную лестницу, осталась только черная,

“пролетарская”. Да и жировать в просторных апартаментах не позволили: подселили несколько рабочих семей. Если бы не Лея, которую стали приглашать на музыкальные концерты для “сознательных” рабочих, семья умерла бы с голоду. В декабре 1917 года у Гольдовских произвели обыск (о чём сообщала в письме к мужу Сергею Эфрону Марина Цветаева). А в 1919 году Онисима Борисовича арестовали и допрашивали на Лубянке. Думается, что он привлёк внимание органов как крупная в прошлом политическая фигура, лидер кадетской партии и принципиальный противник большевизма. И хотя его нахождение под стражей было кратким, на семейном совете было принято решение оставить советскую Россию и уехать, сначала в Германию, а затем и в Америку. Не объявляя заранее о планируемой эмиграции, Лея, взяв с собой сына Бориса, в 1921 году отправилась за границу, якобы на гастроли. Вскоре удалось вывезти в Германию и маленькую дочку Ирину, и было договорено, что к ним присоединится и глава семейства. Однако уже в Берлине к ним пришла скорбная весть о скоропостижной кончине Онисима Борисовича от инфаркта. Ходили слухи, что смерть спровоцировало полученное Гольдовским известие о новом аресте, а опасный для сердечника подъём на верхотуру по крутой лестнице довершил дело.

Одновременно с новой семьёй Гольдовского решает эмигрировать из Совдепии и Рашель Хин. В июне 1921 года она подаёт заявление в президиум ВЦИК с просьбой разрешить ей выезд за кордон, мотивируя это плохим состоянием здоровья (прилагая при этом медицинскую справку авторитетного врача-терапевта, профессора МГУ Дмитрия Плетнёва). А 2 августа 1921 года Хин получает мандат за подписью наркома просвещения Анатолия Луначарского на поездку в Германию “для изучения новейшей детской литературы и детского искусства и лечения”.

Согласно сведениям Фонда русского заграничного архива в Праге, Рашель Мироновна умерла в Германии. На самом же деле, в советскую Россию она всё-таки вернулась и до самой своей кончины в 1928 году жила в Москве. Хин была удостоена краткой статьи в “Биобиблиографическом словаре писателей XX века” (М., 1928), но новых художественных произведений она так и не написала. Диктатуру пролетариата она не приняла и в советскую культуру не вписалась, хотя числилась во Всероссийском союзе писателей – профессиональной писательской организации для литераторов “старой” (дореволюционной) формации, организованной в 1920 году и просуществовавшей до 1932 года. Состояла она и членом Общества любителей российской словесности при Московском университете, впрочем, влачившего при Советах жалкое существование. Так талантливая, в прошлом знаменитая писательница не смогла при большевиках реализовать своего литературного дарования. Она жила и дышала прошлым. И как отголосок минувшего, должно рассматривать последнее произведение, вышедшее из-под её пера. То были воспоминания Хин о знаменитом адвокате и судебном ораторе Анатолии Кони, которые она назвала “Памяти старого друга”. Но увидело оно свет в сборнике “Памяти А.Ф.Кони” (М; Л., 1929) уже после её кончины.

Первые публикации Рашели Хин появились в ежемесячном журнале “Друг женщин”, издаваемом в Москве в 1882–1884 гг. под редакцией Марии Богуславской. Журнал объявил своей задачей “предоставление женщинам высказывать свои суждения обо всём, что их касается, о своих нуждах и потребностях”, и сосредоточился главным образом на их религиозно-нравственном воспитании. Выступление Хин в печати вполне вписывалось в программу издания. Речь идёт о просветительском очерке “Судьбы русской девушки”, посвящённом народным свадебным обрядам (Друг женщин, 1883, № 2). Автор говорит здесь о народных нравах и обычаях, как о живых отголосках стародавних времён. Она раскрывает глубокий смысл свадебного ритуала, даёт картину последовательного развития форм брака в связи с судьбой девушки. При этом использует сборники фольклора, иллюстрируя материал яркими примерами из народных песен. Хин демонстрирует широту взглядов, обращаясь к трудам о первобытной культуре и истории цивилизации Джона Леббока и Эдуарда Беннета Тейлора, а также

этнографа Матиаса Александра Кастрена, путешествовавшего по северной России и Сибири, описывает русские, малороссийские, белорусские, самоедские, сербские, лужицкие, мордовские свадебные обряды; особое внимание уделяет таким обрядам, как свадебные плачи, купля-продажа, похищение, уход и увоз невесты, обоюдные договоры, битёе плёткой, смотрины и глядины, и т. д. Её вывод: изучать народный быт— первостепенная необходимость, “хотя бы по отношению к одному из частных вопросов – вопросу о судьбах девушки в различные эпохи общественного развития”.

В том же журнале (1883, № 3–6) была напечатана повесть “Из стороны в сторону”. Уже в ней выявляется стремление Хин к показу характера в его становлении. Американский литературовед Кэрл Бэйлин подчёркивает: “Повесть Хин предостерегает читателя – это мужчины могут положиться на женщину в эмоциональном и материальном планах; женщина же, всецело доверившаяся мужчине, обречена на несчастье”. Интересно, что писательница не обошла вниманием феминистские тенденции в современном ей российском обществе. Она создаёт пародийный образ воинствующей феминистки, чьи слова и дела доведены до полного абсурда. “Языком горы ворочает, а на деле дрянь выходит”, – говорит об этой кликушествующей особе один из персонажей повести.

Впрочем, эти образы рефлексирующих, мятущихся женщин стоят особняком в творчестве писательницы. Уже три её последующие произведения 1886, 1890 и 1891 годов, впоследствии объединённые в книгу Хин “Силуэты” (1894), могут рассматриваться как единый цикл. Соединяет их сродство главных героинь, с их преданностью делу, твёрдой жизненной позицией. Это женщины сильные, самодостаточные, с крепкой нравственной закваской, которые хотя “иногда и теряют головы перед ударами судьбы, но... опять поднимают голову и продолжают биться до конца. При этом у Хин нет нытья и слащавости, везде бьют ключом бодрая сила и живая энергия”. Заметим, что именно такой образ женщины, независимой и самодостаточной, культивировался адептами российского феминизма конца XIX века. Прозу Хин и рассматривали в этом ключе, отмечая, что она “пишет с чисто женской точки зрения, останавливается на тех мелочах, которыми любят заниматься женщины и трогают женское сердце”.

Очерк “Силуэты” (Русская мысль, 1886, № 8–9) посвящён борьбе за самостояние и место в жизни молодой художницы Нины Высогорской и её жизни во Франции. Русскую колонию эмигрантов в Париже Хин изображает “в однотонном сером колорите”. Эти люди, вечно празднующиеся, затянутые в “беличье колесо кружковой жизни”, кажутся “искалеченными”. И не случайно у героини возникает желание непременно вернуться домой, в Россию. Но отрезвление настанет быстро. “Дикая, алчная, ничем не сдерживаемая погоня за карьерой и беспечальным житием – вот что нашла Нина на родине”. Она в отчаянии: “Меня одолела эта пошлая мещанская яма; я и сама не знаю, чего хочу. Стыдно, стыдно!” Единственно, что её спасает в этой ситуации – творчество, и она с головой уходит в работу. – Её талант выручит, – говорят о Нине окружающие.

Повесть Хин “На старую тему” (Северный вестник, 1890, № 1) отличается “свежестью, душевной теплотой и глубоким нравственным настроением” (Русское богатство, 1890, № 1–2). А в её главной героине Татьяне Обуховой, умной и цельной, критики находили сходство с Татьяной из “Евгения Онегина”, впрочем, Татьяны новой, сознательно убеждённой. Это чуткая, чистая, глубокая натура. Но даже малопривлекательные персонажи под пером Хин обретают известную многомерность: “в самой, казалось бы, загубленной душе, одичавшей от самодурства, озверелой от пьянства, она своим чутким ухом умеет различать самые нежные звуки и ясно передаёт их, вызывая ярость к падшим и сочувствие к страдающим”.

Обращают на себя внимание образные выражения автора, обладающие афористической меткостью: “Всю жизнь был благородным дворянином, собаку через ять писал... Я кругом запечатана... Она даже не хандрила, а как-то застыла в своей печали..... Она из тех, кто уми-

рает с улыбкой на устах, чтобы не огорчить окружающих... Облагонамерились... Перестает говорить и речет, как пророк”.

В повести “Наташа Криницкая” (Русское обозрение, 1891, Кн. 3, № 6) конфликт поколенческий – легкомысленной и ничтожной матери и чуткой, с твердыми нравственными принципами дочери. Наташа четко формулирует своё жизненное кредо: “Я верю, слышите, несмотря ни на что, верю, что есть люди, для которых слово “любовь” не значит только любовь к женщине, которые имеют мужество громко стоять за то, что они считают правдой и не боятся показать слишком много участия бедняку”. Деятельная любовь к людям – вот что держит Наташу Криницкую и ведёт её по жизни.

Как видим, героини писательницы побеждают обстоятельства тем, что угадывают и находят своё главное предназначение. Одних спасает талант (“Силуэты”), других – живое дело, забота о детях (“На старую тему”), третьих – деятельная любовь (“Наташа Криницкая”).

Критики оказались единодушны в оценке “хорошего литературного языка нервной до страстности женщины”. И как тут не обратиться вновь к афористичности её стиля. И в этих повестях то и дело встречаются колоритные фразы: “Высокомерная порядочность российского индифферента... Страдающий человек лучше, чем блаженствующая скотина (трезвый практик)... Искренний человек – дикарь, который лезет с дубиной на всякого, кто ему не по нраву... У меня в жилах кровь течёт, а не кислая простокваша” и др.

Рецензенты отмечали, что “у писательницы есть в достаточной мере то, что Тургенев называл “выдумкой”; в повествованиях же нет ничего придуманного, то есть деланного и насильно притянутого эффекта. Зато содержится призыв к взаимной деятельной любви, к доброжелательству, к созданию таких семейных и общественных отношений, при которых в семье и обществе можно было жить “по-человечески”.

В следующем её сборнике “Под гору” (1900) художественно-тематический диапазон заметно расширяется. Как об этом писала авторитетная “Галерея русских писателей” (1901), теперь “Хин сосредотачивает внимание на выяснении пустоты и фальши аристократической салонной культуры, пошлости буржуазной среды – среды модных адвокатов и модных докторов”.

Повесть “Одиночество” (“Из дневника незаметной женщины”), опубликованный ранее в “Вестнике Европы” (1899, Т. 5, Вып. 9-10, сент.), интересен не столько самой свыкшейся со своим духовным одиночеством героиней, убеждённой (точнее, давшей себя убедить) в отсутствии у неё какого-либо таланта и целиком растворившейся в семье, сколько её домочадцами – дочерью и мужем, модным адвокатом.

Первая эгоистична и чрезвычайно своекорыстна, деньги для неё – “винт, на котором вертится мир”. И она сама, и её молодое окружение – поколение скептиков, они решительно ничему не удивляются, не ведая ни трепета, ни восторга, ни робости, ни сомнений. Такие считают хорошим тоном смотреть на жизнь с презрительной усмешкой.

Под стать дочери и её отец, достигший в юриспруденции степеней известных. При этом Хин, зная адвокатскую среду не понаслышке, ориентировалась здесь на вполне реальный прототип. Впрочем, карьера некоторых адвокатов, общественных деятелей – из прогрессистов – в реакционеры – была явлением не редким во все времена.

Жанр произведения Хин “Последняя страница” (Под гору. М., 1900, С. 201–247) определён как “отрывок”. И в самом деле, здесь выхвачен день из жизни русской эмигрантки в Париже, сумасбродной графини. Эта бывшая красавица (а ныне толстая маленькая фигурка с жёлтым одутловатым лицом), пребывает в вечно раздражённом настроении и злословит в адрес окружающих. Эгоцентрик и мизантроп, она патологически скaredна, тиранит всех вокруг.

Небольшой эскиз Хин “После праздника” (Под гору. М., 1900, С. 311–323) с описанием шумной разноязыкой толпы изысканно одетых кавалеров и дам на Медицинском конгрессе, навеивает скорее меланхолическое настроение, мысль о скоротечности бытия.

“Повести Хин задуманы небанально и читаются с интересом”, – отмечали критики. Но особая ценность их в том гуманистическом послы, который автор доносит до читателя. И современники это понимали и принимали: “Хин верна одной религии – добра и справедливости, что всего выше. . . писательница с непоколебимую мягкостью, истинно гуманно относится к порочным, испорченным и обездоленным. . . Она своим чутким ухом умеет различать самые нежные звуки и ясно передаёт их, вызывая милость к падшим и сочувствие к страдающим”.

\* \* \*

Отношение Рашели Хин к вопросу крещения евреев представляет тем больший интерес, что сама она приняла католицизм, правда, по причине, далёкой от прагматизма. Известно, что согласно иудаизму, отказ еврея от веры предков считается тяжким грехом. В галахической литературе такой отступник называется *мумар* (буквально ‘сменивший веру’), *мешуммад* (‘выкрест’), *апикорос* (‘еретик’), *коффер* (‘отрицающий Бога’), *пошеа Исраэль* (‘преступник против Израиля’) и т. п. При переходе иудея в христианство семья ренегата совершала по нему траурный обряд – херем, как по покойнику (такой обряд блистательно описан Шолом-Алейхемом в рассказе “Выигрышный билет”). Выкреста предавал херему раввин, а на еврейском кладбище появлялась условная могилка, к которой безутешные родители приходили помянуть потерянного сына или дочь.

Однако драматические события еврейской жизни конца XIX века заставляют переосмыслить устоявшиеся догмы и представления. Некоторые радетели еврейства переходили в чужую веру и соблюдали чуждые им обряды, стремясь принести пользу своему народу. И тогда крещение еврея могло восприниматься уже как жертва во имя соплеменников. А ради их блага позволительно было рядиться в любое платье, даже апикороса-отступника.

Известный врач и общественный деятель Рувим Кулишер (1828–1896) утверждал, что знал выкрестов, которые, заняв высокое положение благодаря крещению, по мере возможности старались защищать евреев.

Влиятельных выкрестов, всемерно помогавшим своим соплеменникам, в России было немало. Так, ориенталист Даниил Хвольсон (1819–1911) на вопрос о причинах его крещения ответил: “Я решил, что лучше быть профессором в Петербурге, чем меламедом в Эйшишоке”. И академик Хвольсон, вошедший в историю как ревностный заступник иудеев, доказал необоснованность обвинений их в ритуальных убийствах и глубоко исследовал историю семитских религий. Знаменитый адвокат Лев Куперник (1845–1905), “всех Плевак соперник”, был деятельным защитником евреев, не боясь при этом разоблачать действия властей, и всей своей жизнью заслужил то, что, несмотря на крещение, после его кончины в российских синагогах вели поминальные службы. Или Иван Блюх (1836–1901), ученый с мировым именем, чей вклад в жизнь российского еврейства еще не вполне оценен. А он, между тем, был активным участником комиссии Константина Палена по пересмотру закона о евреях, автором фундаментальных экономико-статистических трудов о губерниях “черты оседлости”, а также специальной записки “О приобретении и арендовании евреями земли” (1885). Хотя Блюх формально снял с себя “кандалы еврейства”, на смертном одре признался: “Я был всю жизнь евреем и умираю, как еврей”. Между прочим, его опыт мог быть вдохновляющим для Хин, поскольку тот принял католицизм и “превратился из варшавского жидка в заправного европейца”.

Борьбой за права соплеменников проникнуто всё творчество Хин. Что до крещения, то она, будучи, по-видимому, агностиком (“Вы должны прийти к вере”, – увещевал Рашель Владимир Соловьёв) и сторонницей свободы совести, в жизни отличалась веротерпимостью и поступала весьма прагматично. Это отчётливо видно на примере её сына Михаила Фельдштейна (1885–1939), крещением которого она озаботилась очень рано и поделилась этим с близким другом, знаменитым адвокатом Анатолием Кони. Тот писал ей 20 июля 1890 года: “Вы пишете

о Мише. Мне не придётся, вероятно, видеть его юношеский расцвет, но если бы я до этого дожил, то – будет ли он, мой милый знакомый незнакомец – еврей или христианин, моё участие, поддержка и сочувствие принадлежит ему заранее, во имя его настрадавшейся матери. С вопросом о нём торопиться незачем – лет до восьми можно оставить вопрос *in status quo*. А там многое ещё может перемениться. Главное, не падайте духом и не теряйте веры, что ему принадлежит светлое будущее”. Миша всё же будет крещён по православному обряду, что поможет ему в научной карьере (в возрасте 32 лет станет приват-доцентом Московского университета). Но когда спустя годы, в пылу славянофильского угара, он станет проявлять откровенное евреененавистничество, Хин, хотя и попытается разобраться в его психологической мотивации, жестока и бескомпромиссна к сыну: “Миша питает к евреям органическую антипатию (я по себе знаю, что такое чувство может быть у очень нервного еврея, выросшего в далёкой от еврейства среде)... Но Миша – очень образованный человек, настоящий учёный, с философским складом ума – и, наконец, просто порядочный человек. Вся та дикая оргия, которая теперь совершается над евреями и которая приняла чудовищные размеры – не может не возмущать даже ко всему равнодушных людей. Я уверена, что Миша глубоко страдает. Но, вместе с тем, он возмущается, что из-за еврейских погромов он не может сосредоточить исключительно все свои чувства на войне и её героях. Приходится разбиваться. Тех, которые поставили на пьедесталы Наполеонов, Суворовых – ведут себя, как тупицы, мерзавцы, злодеи... Обидно и противно”...

Закономерен вопрос: а как правда жизненная, историческая соотносится с правдой художественной? Художник не просто отражает действительность, он её активно преобразует, намечая такие этические и нравственные рубежи, которых не всегда возможно достичь в реальной жизни. В полной мере это относится и к Рашели Хин, затрагивающей тему крещения во многих своих художественных произведениях. Примечательно, что, в отличие от повествовательницы, в жизни принявшей католицизм, положительные герои ее произведений, поставленные перед подобным выбором, как правило, категорически от крещения отказываются, даже если оно вызвано причинами “романического” свойства (хотя и ревнителями иудаизма, крещение из-за любви подчас даже оправдывалось). И, напротив, обратившиеся в христианство (из прагматических и карьеристских соображений) ею жестко порицаются.

В Саре Павловне Берг, героине повести Хин “Не ко двору” (Восход, 1886, № 8-12), угадываются и индивидуально-авторские, и типические черты ассимилированного русско-еврейского интеллигента конца XIX века, с его неизбывной трагедией. Воспитанная в привилегированном пансионе в духе заскорузлого антисемитизма, девочка читает “Четыи Минеи” и убеждена, что все евреи грязные, что они “с мацой в Пасху пьют человеческую кровь”, и страстно мечтает о крещении.

Однако учитель-швейцарец, месье Обер, объясняет девочке, что ренегатом быть негоже, и если мы родились в какой-нибудь религии, то изменить ей мы можем только в том случае, когда, по основательному изучению, придём к убеждению, что она не может нас удовлетворять. Он говорит о грандиозной и вместе с тем трагической истории евреев, давших миру великих мыслителей, пламенных патриотов, несравненных поэтов и приносит ей “Натана Мудрого” Лессинга и другие просветительские сочинения.

Логика жизни приводит девушку к заключению, что если ненависть к евреям входит в самую структуру христианства, то оно, стало быть, не дотягивает до тех ценностей, которые им провозглашаются. Сара, интеллигентная и образованная, то и дело сталкивается с дискриминацией: ей, как еврейке, отказывают в работе. А в один богатый дом она попадает, поскольку хозяева посчитали, что “даже лучше, что она жидовка; будет, по крайней мере, знать свое место и не важничать”. В такой “серой, точно гороховый кисель”, юдофобской атмосфере “ей как-то не верится, что можно произнести слово “еврей” без прибавления – плут, мошенник, подлец, когда представляется удобный случай”.

Принципиально невозможным становится для героини и крещение, какими бы резонами оно ни было продиктовано. А к нему склоняет Сару ее возлюбленный Борис Коломин, дабы заключить с ней брак, убеждая, что это простая формальность, обряд. – Для такой женщины, как Вы, существует лишь одна религия, которая совсем не обуславливается той или иной церковью. Не могу же я поверить, что Вы заражены религиозным фанатизмом.

Однако вовсе не в фанатизме тут дело: Сара Павловна считает себя плотью от плоти еврейского народа и желает быть со своим народом – там, где, говоря словами поэта, ее “народ, к несчастью, был”! Для неё креститься – значит отречься от несчастных соплеменников, “перейти во вражеский лагерь самодовольных и ликующих”. Потому она категорически отказывается изменить свой вере и выйти за Коломина. Хин – писательнице важно подчеркнуть демонстративный отказ героини от ренегатства.

В другом произведении, “Мечтатель” (Сборник в пользу начальных еврейских школ / Изд. Общ-ва Распространения Просвещения между евреями России, Спб., 1896), перед нами предстает “скромный и бескорыстный пионер еврейского просвещения”, Борис Моисеевич Зон. Это “неисправимый романтик”, кумиры коего – печальники еврейства Ицхак-Бер Левинзон (по предположению исследователей, Зон – усечённая форма фамилии “Левинзон”) и Илья Оршанский, а любимые литературные корифеи – Жорж Саид, Виктор Гюго и И.В. Гете. Он наделен “умом сердца”, чуткостью и подкупающей всех “духовной простотой”. Этот “энциклопедист-самоучка – любопытный обломок целого типа, который в таком неожиданном изобилии выделило еврейское захолустье в конце 50-х годов”.

В холостяцкой московской квартире Бориса Моисеевича столовались нищие студенты, несостоявшиеся артисты, бомжи, а хозяин-хлебосол и рад был внимать ежечасно “молодому шуму”, привечать всех – и эллина, и иудея. Однако шли годы, эпоха надежд Александра II – Освободителя канула в Лету, на троне прочно обосновался “тучный фельдфебель” – Александр III. “Дух времени был слишком силен, и старый мечтатель растерялся, – пишет Хин. – Пришли степенные молодые люди с пакостной усмешечкой, иронизирующие над “именинами сердца”, пришли журналисты, прославляющие розги, юдофобство на “научной” почве, с передержкой, гаерством, гиканьем”.

“Страдальца” Зона, не пожелавшего пойти на сделку с совестью, высылают из Москвы (предварительно в полицейском участке его аттестовали “натуральным жидовским” именем – Беркой Мордковичем – и не без удовольствия напомнили, что в России “для жида нет закона”! (Надо заметить, что здесь Хин переданы подлинные слова московского обер-полицмейстера Александра Власовского). Последние дни наш “мечтатель” проводит в одном заштатном городке черты оседлости, где и кончает жизнь самоубийством.

В сочинении Хин “Одиночество” привлекают внимание два национальных типа, поразительных по своей полярности. Представитель первого – весьма отталкивающий, “крошечного роста, худенький, черномазый... невежественен баснословно” выкrest Беленький. Противостоит ему выпускница университета Белла Григорьевна Грогсоф. Тонкая и интеллигентная, она дает частные уроки, готовит учеников к поступлению в гимназию. Но ее семью, как и семьи тысяч иудеев, высылают из Москвы, хотя родители “живут здесь чуть ли не 20 лет, и вдруг оказывается, что они не имеют права тут жить и должны уехать на родину, а они и забыли давно, где их родина”. Белле с ее обостренным чувством национального достоинства стыдно и унижительно просить о том, что должно принадлежать ей по праву.

Влиятельный юрист Юрий Павлович, к заступничеству которого прибегает Белла, предлагает ей отказаться от своих принципов. Диалог этого циничного “законника” и образованной еврейки воссоздан писательницей мастерски, с блеском и присущей только ей тонкой и уничтожающей иронией. Первый вполне оправдывает “виды высшей администрации”, говоря, что “у евреев действительно много несимпатичных черт”; впрочем, он вполне уверен, что просительница “составляет блестящее исключение из этого, увы! – печального правила”. Белла не

понимает, как можно допустить такой суровый приговор целому народному. Тут Юрий Павлович дает девушке “добрый совет”: – Берите меня в крестные отцы, и дело с концом!

Белла с негодованием отвергает это предложение.

В драме Хин “из эпохи освободительного движения” – “Ледоход” (М, 1906) выведен тип еврея социал-демократа и интернационалиста – Павла Львовича Брауна. Хин характеризует его как “одного из лучших людей”, который “юношей вступил в армию борцов за российскую свободу”. Знаменательно, что один из персонажей пьесы, сановник Иван Бутюгин, по его словам, к Брауну “в крестные отцы набивался”, а тот на такое “выгодное” предложение только рассмеялся ему в лицо.

Справедливости ради надо указать и на одно исключение из общего правила. В драме “Наследники” (СПб., 1911) представлен чрезвычайно привлекательный персонаж еврея-выкреста. Это престарелый мультимиллионер Роман Ильич Волькенберг. Существенно, однако, что сам он не только подчёркивает своё еврейство, но и окружающими воспринимается именно как “старый жид” – и по своей психологии и по образу мышления. Хотя обстоятельства крещения Волькенберга – “романического” свойства: он влюбился в дочь русского аристократа из Рюриковичей.

Иудейская вера рассматривалась писательницей как органическая часть еврейской идентичности, а крещение равносильно для нее отщепенству от своего народа. Правда, подобное предательство осознается далекой от иудаизма Хин не столько как религиозное, сколько как социально-правовое и политическое. Отступничество воспринимается как отказ от высокого мученичества дискриминируемого меньшинства, как продажа души за “чечевичную похлебку”. Симпатичны и притягательны у нее, как правило, те евреи, которые тверды в своих убеждениях и не желают быть ренегатами. И хотя в жизни писательница мирилась с таковыми, она настойчиво и целенаправленно развенчивала их в своем творчестве.

\* \* \*

Когда известный критик Аркадий Горнфельд прочитал в русском журнале “Вестник Европы” (1896, сент.) произведение Хин “Устроились”, он посчитал, что “не там этому рассказу место, что там его не поймут, т. е. поймут грубо, в общих чертах, но не в тех тонких частностях, которые мог бы оценить и понять только еврейский читатель”.

Что же специфически еврейского содержал в себе этот текст? Речь идёт здесь о бывших университетских однокашниках, русском и еврее, встретившихся через 12 лет после выпуска на Пироговском съезде врачей, причём первый принимает второго в своём роскошном московском особняке. Их судьбы сложились по-разному: хозяин особняка Игнатий Львович Дымкин стал “столичной знаменитостью”; второй же, Семён (Симха) Михайлович Воробейчик, живет и практикует в захолустном Загнанске, на речке Гнилушке. Но роднит их то, что оба несчастливы и обманулись в браке. Дымкин поведал товарищу, как стал деталью модного интерьера – “базара” жены, а всё потому, что ещё будучи молодым, “свою душу продал” ей за 50 тысяч. “А я свою даром отдал”, – вторит ему Воробейчик. Оказывается, нечаянно женившись на внушительном приданом, он не только такового не получил, но и вконец исковеркал свою жизнь. Писательница художественно точно рисует еврейские типы, проникая в самую суть характера. Каждый штрих, каждая черточка обретают яркость, значительность и типичность. “Вот— подлинные “плоть от плоти и кость от кости нашей”, – говорит Горнфельд о персонажах Хин. – Такая литература с её объективным художественным наблюдением выгодно отличается от прочей тенденциозной еврейской беллетристики, и пишет не манекенов, но “живого еврея”.

Ещё одно произведение Хин о “живом еврее” напечатано в журнале “Мир Божий” (1903, № 1). Это рассказ “Феномен”. Некая Мадам Пинкус привозит из Кишинёва в Москву своего сына, малолетнего Яшу, обладающего феноменальными вокальными способностями (“Бог даёт

еврейским детям ум и талант назло их врагам”, – говорит она). Учительница музыки, к которой она обратилась за помощью, разглядела в ребёнке “на тоненьких ножках, тщедушном, бледном, с длинной, как у аиста, шеей, с большой курчавой головой и огромными, недетскими черными глазами”, недюжинный талант. Пользуясь своими связями и знакомствами, она организует концерты мальчика-феномена, имеющих оглушительный успех. Но когда речь зашла о возможности для семьи Яши остаться в Москве, охотников помочь не нашлось. Хин мастерски рисует это воинствующее равнодушие столичного бомонда. Одна из его светских львиц, генеральша Стоцкая, отговаривается: “А что от евреев покою нет... Противный народ. Терпеть не могу вечно несчастных людей. Порядочный человек молчит о своих несчастьях, а евреи кричат на весь мир, что их обижают. Отвратительная манера”.

“Одеревенели сердца у людей; ни талантов, ни души, ничего не нужно”, – сетует учительница. И Мадам Пинкус повезла своего Яшу назад в Кишинев. Критик Григорий Адмони-Красный под впечатлением “Феномена” Хин писал: “Тема, затронутая ею, несомненно, интересна, но она до того полна различных моментов, что в небольшом рассказе очень трудно охватить их все. Г-же Хин под силу и большой роман; жизнь же, затронутая ею, настолько интересна, что доставила бы богатый материал именно для романа или обширной повести”.

Примечательно, что именно в год опубликования рассказа в журнале “Мир Божий” (1903), при полном попустительстве властей и духовенства, случится страшный Кишиневский погром. Причём рассказ был опубликован за три месяца до этого ужасного события. Вот что писала Рашель Хин в своём дневнике от 19 апреля 1903 года: “В Кишинёве произошёл чудовищный погром. В течение трёх суток – на Пасху – грабили и убивали евреев. По официальным сообщениям, людей выкидывали из верхних этажей на мостовую, насиловали женщин, “наносили удары, как по каменным стенам”. Полиция бездействовала... Газета “Бессарабец” каждый день разжигала ненависть и науськивала чернь на евреев. Во время погрома христиане, “интеллигенты” в праздничных нарядах расхаживали и разъезжали по городу и *смотрели*, как бьют жидов. Никто не заступился. Всем было всё равно. По газетам, убитых 45 человек, по частным (письмам) – больше трёхсот... Какой срам!”. Вот что ждало Яшу и его маму, точнее, их прототипов, на родине, в черте оседлости. Уцелели ли они в этой человеческой бойне?

Однако и положение иудеев, получивших право жительства в Москве, завидным не назовёшь. Ранее в “Недельной Хронике Восхода” (1887, № 2) Хин публиковала “Письма из Москвы”. Голос автора сливался здесь с мыслями и чувствами десятков тысяч её московских соплеменников и как будто звучал от их имени. Наблюдения не только объективны, они глубоко выстраданы.

Речь идёт о том, что русская интеллигенция “так чистосердечно, так искренно игнорирует существование евреев, что даже сами они как бы свыклись с мыслью, что так этому и быть надлежит”. Всякие попытки “слияния” тщетны. Действительность отрезвляет, и евреев равно чураются либералы, консерваторы, народники, квартальные, добровольцы. С горечью констатируется тот факт, что для московских иудеев “личная жизнь в своём узком смысле заслонила все общественные интересы”. Всё свелось к тому, как бы поприятнее пожить; и “сколько муки, сколько пыток причиняет этот упрощённый идеал, какую бездну лжи и притворства он породил!”. Отсюда – совершенное неумение жить; неуверенность в завтрашнем дне; бесцеремонность обращения богатых с бедными, образованных с простыми; подчас до наивности доходящее чванство; жалобы, вздохи, разлетающееся, подобно карточному домику; солидное положение; толки о выгодной партии; буржуазное самодовольство и холопская низость. И безусловно, права комментатор текста, израильский исследователь Нелли Портнова, отметившая, что “Россия за формально-законодательное принятие в свой мир требовала от евреев предательства – массового снижения нравственного уровня”.

Самый известный текст Хин – “Макарка” (Из жизни незаметных людей). Эскиз” (Восход, 1889, № 4), переизданный впоследствии пять раз (в том числе дважды в многотиражном

издательстве “Посредник”). Подзаголовок красноречив. Современником писательницы, Григорием Мачтетом, в его рассказе “Жид” (1887) изучение простого человека было осознано как насущная художественная задача: “Мы вообще редко обращаем внимание в жизни на действительные подвиги простого *незаметного человека*, проходим мимо них спокойно, точно мимо самых обыкновенных, заурядных явлений, и к крайнему своему изумлению убеждаемся, что эти простые явления – настоящие подвиги только тогда, когда нам это подскажут, подчеркнут или обратят на них внимание живым рассказом”. Именно о таком незаметном человеке, мальчике-подростке, вопреки издевательствам и унижениям, ставшим для взрослых высоким нравственным примером, пишет Хин. Как отметил рецензент еврейского журнала “Будущность” (1903, № 5), писательница “со знанием дела, с искоркой” изобразила “душевный мир ребёнка, забитого дурными условиями домашней жизни... От [эскиза] веет чем-то тёплым, искренним, молодым, чувствуется, что автор рассказывает пережитое и передуманное”.

Противопоставление евреев-плебеев и евреев-аристократов занимало Хин. И духовным ориентиром стал для неё голландский философ, потомок марранов Уриэль Акоста (1585–1640). Представление о нём как об идеальном еврее, по-видимому, воспринято Хин от одноименной драмы Карла Гуцкова (1847), чрезвычайно популярной в России в переводе Петра Вейнберга (изд. 1872, 1880, 1895, 1905) и ставшей также сюжетом ряда опер и картин. Широта взглядов, обаяние, культура, интеллектуальная энергия Акосты рассматривались писательницей как неотъемлемые черты передового еврейского интеллигента.

Впрочем, при всей взыскательности Рашели, она и в своём еврейском окружении находила достойных патента на благородство. Таковой была её гимназическая подруга, выпускница Высших женских курсов Екатерина Семёновна Динесман (Катя Киссина), о кончине которой в 1913 году Хин рассказывала в своём дневнике: “Я очень любила Катю за её необыкновенную кротость и милый, безобидный юмор. Она была типическая еврейка – по наружности, уму, душе – в самом привлекательном смысле. Все острые черты – в ней были облагорожены, смягчены и составляли что-то ей одной присущее. А главное – её доброта, изливавшаяся на всё “сущее”... Бедная моя Катя! Она не жаловалась на судьбу, всегда мило шутила, но в её редко-прекрасных, совершенно чёрных бархатных глазах всегда стояла печаль... смирения ли, обманутых мечтаний? Кто знает... Мир твоей незлобивой душе, моя милая Катя”. Круг идеальных евреев Хин на этом не закрыт. “В Кате было что-то общее с нашей бедной Анетой”, – замечает она, по-видимому, имея в виду свою родную сестру Анну Хин (по мужу Гринер). Сведения об Анне Хин крайне скудны, и ценно, что нам открывается духовная близость сестёр.

Отношение к евреям было для Хин лакмусовой бумажкой благородства и интеллигентности человека. Эталоном в этом отношении был высоко ценимый ею Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900), которого она в шутку называла “цадиком”. “Очень интересно отношение Соловьёва к евреям и еврейству, – писала она в дневнике. – Древний Израиль для него священен. Это я ещё могу понять. Его возню с евреями тоже можно понять... Он их любит, – не жалеет, а именно любит. “Ваш порок – это евреи, наша великая раса”, – сказала я ему как-то, и он хохотал, хохотал и всё повторял: “Конечно, *они* великая раса”... Интересно то, что в последний день своей жизни он стал вслух говорить по-древнееврейски. Родные и Серг. Ник. Трубецкой думали, что он бредит. Стали его успокаивать, но он сказал: “Не мешайте мне, я должен помолиться за еврейский народ”.

И о замечательном учёном, профессоре-шекспироведе Николае Ильиче Стороженко (1836–1906) писательница говорила как о светлой личности, внесшей великий вклад в сокровищницу русской науки, и привела характерный пример: “Он умел поднимать свой голос одиноко, среди общего безмолвия. Н.И. доказывал, что недопущение евреев в университет только развращает студентов-христиан, и подал в ректорат специальное “мнение”.

Ректор заметил, что “мнение” последствий иметь не будет.

– Или будет иметь через сто лет. – добавил он.

– Тем хуже для нас! – парировал Стороженко”.

Критик Оскар Грузенберг говорил об отчаявшихся евреях-интеллигентах, выросших “под чисто русским влиянием”, которые в лихолетье погромов обратились к своим национальным корням, прияли венец еврейства. “Нужно было просветить все впечатления, подвести итог всему, что сближает с забытым народом, к которому, не сегодня – завтра, придётся обратиться с мольбой защитить и вдохновить”. В то же время для многих, и для Хин в том числе, антисемитизм и дискриминация евреев были вопросом общим, государственным.

Взгляд писательницы на действительность поражает своей масштабностью. Она настойчиво повторяла фразу своего друга Анатолия Кони, ставшую и её творческим кредо: “Я люблю слушать шаги времени”. И сама эпоха в её драматизме и противоречиях под пером Хин оживает, играет яркими красками. Вот что писала она о царствовании Александра III, которого “общая молва” украшала солидными добродетелями. “Прекрасный семьянин, прямодушный, добрый и застенчивый человек. От людей, вхожих в столь высокое место, приходилось слышать, что государь— добрый человек, но совершенно необразованный, тупой, чрезвычайно вспыльчивый, упрямый и... пьяница... Для поляков, сектантов и особенно для евреев эпоха царя-миротворца была жестокая, мрачная и при том поразительно нелепая. То же и для вольнолюбивых россиян. Погромы, “разгромы” сверху и снизу, отрывание детей у родителей-духоборов, разоренье, изымательство, армянская резня, религиозные гонения, натравливание инородцев друг на друга... Из фигур, его окружавших – самая крупная и самая зловещая, конечно, К.П.Победоносцев. Русский Торквемада”.

А вот запись в её дневнике от 23 августа 1914 года: “Барон Гинзбург был вчера у Горемыкина и просил его о расширении (об уничтожении нельзя, по-видимому, заикаться) черты оседлости. В ответ на это скромное ходатайство Горемыкин будто бы затопал на барона ногами. И правда! Завтра в Московском университете назначена жеребьёвка. Жажущих – 800, а вакансий 80! Т. к. я... не считаю, что Русь “святая”, то всё это неприличие, против которого общество протестует лишь чуть-чуть, значительно охлаждает мой национализм”.

Примечательно, что даже на гребне военно-патриотического угара, когда даже близкие Рашели Мироновны, муж Онисим Гольдовский и сын Михаил Фельдштейн, были склонны оправдывать любые деяния власть имущих, её заботит положение её соплеменников. “А вот и сейчас, на что, кажется, “исторический момент”, – пишет она 7 августа 1914 года, – а евреям, спасшимся из Германии, разрешено только неделю пребывать вне черты оседлости. Или умирать за Святую Русь, за царя-батюшку, за торжество славянской идеи – это твой долг, а гетто, процентная норма на протяжении всего жизненного пути, “жеребьёвка” детей и юношей перед *наглухо* закрытыми дверями школ – это твоё право. Миша и даже Стась мне говорят: теперь не время об этом рассуждать. Я не юдофилка и не юдофобка, я понимаю, что теперь не время “рассуждать” ни об этом, да вообще ни о чём, но я не могу запретить своей голове об этом думать”. И ещё позднее – “Что у нас делается с евреями – теперь, во время войны! Травят, измываются и мучат хуже прежнего”.

Хин сближается с поборницей прав евреев в России, лидером партии политической свободы “Союз освобождения” Екатериной Дмитриевной Кусковой (1869–1958). Это по её инициативе Максимом Горьким, Фёдором Сологубом и Леонидом Андреевым было составлено воззвание, чтобы евреи получили в России хоть какие-нибудь права гражданства. Вот что Хин пишет в дневнике о встрече с Кусковой 5 марта 1915 года: “Просидели часа два. Мне хотелось от неё самой услышать, как Трубецкой и другие наши знаменитости отказывались подписать “воззвание”... “Бумага... написана в высшей мере скромно, даже вяло. Ничего о происходящих в настоящее время вопиющих, постыдных мерзостях, никаких точек над “i”, весь смысл, что так как евреи, мол, неоднократно доказали свою любовь к родине, то пора уже перестать глядеть на них как на чужеродный сброд”. И далее приводилось описание брезгливых отказов

Александра Мануйлова, Фёдора Кокошкина, Павла Милюкова, Василия Маклакова, графини Варвары Бобринской и даже Анатолия Кони, сказавшего, что это, дескать, “несвоевременно”.

А ранее Хин присутствовала на заседании “Общества Единения Народов России”, где та же Кускова прочла беспристрастный, основанный на хорошем фактическом материале доклад о современных польско-еврейских отношениях. Хотя она старалась держаться объективного тона, но жестокость, иезуитизм и бездушные поляков – причём всех слоёв общества – к несчастным евреям, из простой статистики “случаев” предстали в такой яркой картине, что бывшим на заседании полякам стало очень не по себе. Слово взял председатель польского благотворительного общества в Москве Александр Ледницкий. “В Польше, – говорил он, – никогда антисемитизма не было, как не было там и погромов. Польская литература в творчестве своих корифеев никогда не была юдофобской. Поляки и евреи жили бок о бок 400 лет, и, Бог даст, проживут и ещё столько же – и за крепость брачного союза Казимира и Эстерки – нечего опасаться... А когда русское правительство уничтожит черту оседлости, то в Польше сам собой исчезнет антисемитизм”. Итог всему подвёл адвокат и политический деятель (при Временном правительстве он станет главным прокурором России) Павел Малянтович: “Пора перестать смотреть на евреев, как на объект, на котором мы можем упражнять или своё зверство, или своё благородство и великолепие”. И, словно читая сокровенные мысли Хин, добавил: “Еврейского вопроса нет, есть вопрос русский”.

\* \* \*

К искусству театра Рашель Хин обратилась, будучи уже вполне зрелой писательницей, автором книги “Силуэты” (М., 1894) и множества повестей, рассказов, очерков, переводов в русской и русско-еврейской печати. Профессора Николай Стороженко и Алексей Веселовский, коротко с ней знакомые, пригласили её принять участие в литературном сборнике “Призыв. В пользу престарелых и лишённых способности к труду артистов и их семейств” (М., 1897), издаваемом литератором Дмитрием Гариним-Виндингом под патронажем Российского Театрального общества. Предполагалось сделать сборник “полным и разнообразным”, что в значительной мере удалось. Достаточно сказать, что мы находим здесь рассказы Александра Герцена и Антона Чехова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Ивана Леонтьева-Щеглова, Николая Потапенко и Владимира Немировича-Данченко, стихотворения К.Р., Константина Бальмонта, Татьяны Щепкиной-Куперник, Спиридона Дрожжина, Владимира Гиляровского и др.; переводы Алексея Веселовского и Ольги Чуминой, а также путевые заметки, мемуары, исторические зарисовки и т. д. Немало места уделено и театру, судьбам людей искусства. Воспоминания о Николае Рубинштейне и о выступлении Фёдора Достоевского на вечере в Георгиевской школе фельдшерниц соседствуют с текстами “Из записной книжки драматурга” Петра Гнедича, поминальной заметкой об актёре Александринки Павле Свободине; рассуждениями о “сценическом бессмертии”; описанием репетиции пьесы “Ребёнок” Петра Боборыкина, и т. д. Так что Хин оказалась в хорошей компании.

Но вот что примечательно: её пьеса для чтения “Охота смертная (Пословица)” – единственное драматическое произведение сборника. Американский литературовед Кэрл Бейлин поняла заглавие “Охота смертная” в буквальном смысле как “Желание умереть” (“Desire to Die”). Между тем, в нём сокрыта колоритная русская идиома, на что указывает и авторская характеристика текста – “Пословица”. В полном же виде русская пословица звучит, как “Охота смертная, да участь горькая”, и синонимична по смыслу таким фразеологизмам, как “Задор берёт, да мочи нет”, “Хочется, да не можется”. Однако поскольку героиня пьесы, сибаритствующая жена модного адвоката, рефлексирующая и безвольная Нина Павловна, сильного чувства начисто лишена, название приобретает подчёркнуто иронический характер. Она сетует, что у

неё нет “даже невинного флирта” на стороне и вспоминает щеголеватого красавца Горского, оказывавшего ей особые знаки внимания. В возможность семейного счастья она не верит.

Подобное отношение к институту семьи коренится в русском нигилизме и ярко выражено в “Отцах и детях” (1862) Ивана Тургенева, а именно в репликах Евгения Базарова, называвшего брак “предрассудком” (“Ты придаешь ещё значение браку; я этого от тебя не ожидал”, – говорит он Аркадию Кирсанову). И хотя в романе Николая Чернышевского “Что делать?” (1867) представлен идеал образцовой семьи, основанной не только на взаимном уважении, но и на глубоком чувстве, достичь этой гармонии можно было только вне рамок традиционного буржуазного брака. А при всех плюсах такового, особенно в сравнении с патриархально-домостроевским семейным укладом (отделение деловой жизни от частной; освобождение женщин от обязательного труда; распределение ролей: мужчина-кормилец, жена – возлюбленная и мать; семья закрыта от посторонних и автономна)... буржуазный брак всегда был мишенью сокрушительной критики. С позиций классового подхода, женщины – угнетённый класс и призваны бороться за своё освобождение. И сегодня, наряду с подобным “социалистическим феминизмом”, на Западе влиятелен и радикальный феминизм, с его резким отрицанием института семьи как такового.

Критики отмечали, что в своих произведениях “Хин сосредотачивает внимание на выяснении... пошлости буржуазной среды... Симпатии Хин принадлежат решительно всем протестующим против этой пустоты и пошлости”.

Своеобразие драматургического воплощения Рашелью Хин современного женского характера предстанет рельефнее, если обратиться к её ранней прозе. Как мы видели, в повести “Силуэты” конфликт со средой доводится до кульминации, и героиня преодолевает житейские невзгоды с помощью творческой самореализации, что стало для неё смыслом жизни и спасением души. В другой ранней повести Хин героиня нашла забвение в воспитании детей...

В 1904 году Хин завершает работу над пьесой в 5-ти действиях и 2-х картинах “Поросль”, а отдельной книгой пьеса выходит в свет в самом начале 1905 года в типографии Ивана Холчева (1874–1909), прогрессивного издателя, редактора газеты “Вечерняя почта”, судебного психолога, автора книги “Мечтательная ложь” (1903). Драму взялся поставить Малый театр, и Рашель Хин 18 января 1905 писала в своём дневнике: “Ни к чему у меня душа не лежит. Я как-то забыла, что репетируется моя пьеса [“Поросль” – Л.Б.]. Ни разу не была на репетициях”.

Премьера состоялась на сцене Малого театра 3 февраля 1905 с декорациями Феодосия Лавдовского и в постановке режиссера Александра Федотова. Всего прошло семь спектаклей, причём в них были заняты лучшие актёры театральной труппы Пров Садовский, Александр Остужев, Александр Ильинский, Елена Лешковская, Гликерия Федотова и др.

В основе драмы – романическая история преуспевающего адвоката, которого уводит из семьи настойчивая и предприимчивая молодая женщина, учительница музыки его дочери. Но, несомненно, наибольший интерес представляет психологическая линия сюжета и, прежде всего, колоритные типы современной русской молодёжи, представленные здесь во всей широте. Эта самая “поросль”, воплощённая в ярких сценических образах, показана Хин отнюдь не однозначно.

Мы видим и обуреваемую жадной бесплодной деятельности добрейшей души “ветрогонку” и истого мизантропа, недоучившегося студента, считавшего работу на благо общества “рабством”; отгороженного от жизни поэта-декадента с его разглагольствованиями о “невесомых трепетаньях... светозарных точках в бесконечном, воздушно-целомудренных точках в беспредельности”; и, напротив, твёрдо стоящую на земле “женщину новой эпохи” с её отчаянным феминизмом, приправленным неприкрытым гедонизмом и категорическим отрицанием института брака. Эгоистичная и тщеславная, она ищет развлечений, удовольствий, острых ощущений (“Надо пользоваться каждой минутой. Не оглядываться назад, не забегать вперёд. Что моё – то моё!”). Интересен её диалог с матерью – представительницей народнического

поколения, где дочь, сравнивая себя с тургеневскими Еленами, Натальями, Марианнами, говорит о своём праве не следовать общепринятой морали.

– Но тургеневские девушки, – парирует мать, – уклонялись от шаблона во имя высокой идеи и вовсе не были “нравственными ничтожествами”, “искательницами ощущений”. Она клеймит современную молодёжь за то, что они никого не любят и любить не умеют. Всё-то у них внешнее, напускное; это дикари, одетые в модные костюмы и усвоившие культурные жесты. Впрочем, в пьесе выведен и весьма энергичный молодой студент, размышляющий о долге интеллигенции перед народом, о необходимости служить Отечеству.

Между прочим, этот студент-патриот очень точно характеризует представителей поколения отцов: “Чего тут нет! Кликушество, полицейская теософия, чиновный мистицизм – это с одной стороны. А с другой – кустарная риторика, позёрство, мелодраматическое озорство, сдобренное сивушной сентиментальностью, и безграмотство, возведённое в культ!” А самого адвоката, беспринципного и увёртливового, сторонника компромиссов в общественной жизни, автор припечатывает убийственной репликой: “Нынче компромисс, завтра компромисс... глядишь, и вышел подлец”.

Театроведы объявили драму “совсем не нужной... запоздало противопоставлявшей потерянную современную молодёжь старикам народнического поколения”. А историк Малого театра Николай Зограф заключил о пьесе: “Показанная в дни острейших политических событий, в феврале 1905 года, она с особой очевидностью продемонстрировала свою идейную слабость, устарелость суждений, отсутствие перспективы и подлинных и подлинных исторических конфликтов”. Однако драма ценна как раз тем, что в ней показаны характеры русской интеллигенции, которые не устарели и в тот судьбоносный исторический момент. А тенденциозным критикам хочется напомнить, что “Поросль” была написана Хин в середине 1904 года, когда революционная ситуация в стране ещё только зрела.

Зато драма Хин в 5 действиях “Ледоход” была непосредственно посвящена революционным событиям 1905 года. Она была напечатана под псевдонимом Stanislas Le Char в Петербурге в 1906 году, в типографии купца-миллионера Ефима Дмитриевича Мягкова (1868–1930), издателя серии книг и брошюр марксистского содержания, а также литературы эсеровского и социал-демократического направления (в том числе статей В.И. Ленина и других деятелей революции). Квинтэссенция драмы Хин выражена здесь в словах её главного героя: “Мы увидим свободу... Что-то переменялось в русской жизни. Это чувствуют все. Старое умерло. Мороз, как будто, ещё злее. Но это перед ледоходом”.

В пьесе представлен влиятельный генерал Афромеев – сторонник самых жёстких и репрессивных мер. Крючоктвор и формалист, он ярый поборник смертной казни, ненавидит Толстого, а о революционерах говорит, “надо расстреливать эту сволочь, как бешеных собак”. Организатор еврейских погромов, он объясняет это тем, что “иначе мы рискуем... что вместо евреев народное пламя может перекинуться на... ну, словом, на коренных русских людей”. Вторит генералу и присяжный поверенный Майоров, который во всех российских бедах беззастенчиво винит евреев: “Да один только и есть у нас ‘внутренний враг – жид! Социалисты наши, бундисты, анархисты... все жида!.. От свобод их чесноком пахнет... Если не устроить [евреям] грандиозную чистку – мы пропали. Бунты запасных, возмущение в армии, стачки, всё их штуки”. О том, что подобные взгляды были весьма распространены в среде так называемых “охранителей” свидетельствуют сказанные в том же 1906 году слова известного публициста-почвенника Александра Шмакова: “Русское революционное движение есть движение инородческое, по преимуществу еврейское”. И Максим Горький отмечал, что “главный враг русских евреев – русское правительство, в глазах которого каждый еврей – революционер”.

А вот как аттестуется в пьесе капиталист-богатея Чумаков, получивший образование в Европе и только что вернувшийся на Родину: “На груди конституция, в груди самодержавие”. Не намёк ли это на конституционных демократов, приверженцев конституционной монархии

и развития страны мирным, парламентским путём, без революций, насилий и крови? Или же на партию политических реформ, основатель которой, Максим Ковалевский, декларировал верность “унаследованной от предков монархии” и выступал против “владычества невежественной черни и против её исчадия – народного цезаризма”. Полемизируя с Онисимом Гольдовским, он категорически противился всеобщему избирательному праву, утверждая, что “в безграмотной, дикой, разноплеменной стране может произойти такая поножовщина и пугачёвщина, что [все] взвоют по самодержавию”. Рашель Хин писала о таких: “Либеральствующая “с оглядкой” русская фронда. Что может быть скучней!”. И ещё – “У нас есть либеральные болтуны, тупицы и трусы, вроде наших слюнявых “кадет”. А ведь в 1905 году правительство графа Сергея Витте предлагало кадетам войти в кабинет министров.

Рашель Хин, пожалуй, впервые в русской драматургии даёт обаятельный портрет профессионального революционера-еврея, используя для этого все оригинальные художественно-выразительные средства. Браун из тех революционеров-евреев, которые, по словам историка Сергея Сватикова, “стремились, прежде всего, освободить русский народ”. Убеждённый социал-демократ (его политический лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”), он прошёл через мрачные казематы царских тюрем и снежные вьюги Сибирских острогов. О том, насколько распространённым в России был тип такого революционера, свидетельствуют факты: в 1905 году евреи составляли 34 % всех политических арестантов, а среди сосланных в Сибирь – 37 %; на V съезде РСДРП (Лондон, 1907) около трети делегатов были евреи. Трудно сказать, кто был реальным прототипом Брауна, но, несомненно, автором схвачен типический характер в типических обстоятельствах. При этом Хин посчитала необходимым показать становление характера “несгибаемого революционера”.

В самом финале пьесы – текст революционной песни “Вы жертвою пали в борьбе роковой...”. Примечательно, что в том же 1906 году Ефимом Мягковым было предпринято в Москве новое издание “Ледохода”, к которому были приложены и *ноты* этой песни (“Вечная память” (Знаменный напев)). Впрочем, тиражи обоих изданий были по решению суда конфискованы, так что до нас дошли лишь считанные экземпляры.

Хин вновь обращается к теме “поросли” – нового поколения молодёжи, но уже в условиях первой русской революции. В 1908 году в Берлине, в издательстве Ивана Ладыжникова (1874–1945), социал-демократа, выпускавшего марксистскую литературу, а также писателей горьковской группы “Знание”, вышла в свет драма Хин в одном действии “Под сенью пенатов”. Надо отметить, что по своим политическим взглядам писательница явно склоняется влево, свидетельством чему является её встреча в Париже с известным деятелем освободительного движения, священником Георгием Гапоном (1870–1906), организатором “Всероссийского союза рабочих”, участником неудавшейся попытки вооружённого восстания в Петербурге.

Действие драмы разворачивается в год первой русской революции, однако она остаётся за кадром и материализуется в виде отдалённого грохота канонады и криков на улице. Всё же сосредотачивается на квартире инспектора гимназии, его супруги, их сына, гимназиста Пети, и восемнадцатилетней племянницы, воспитанницы Наташи. Во главе угла – опять конфликт поколений, причём обретает он уже откровенно непримиримый характер. Проблема “поросли” решается в новом, революционном ключе, и настроение молодых очень точно выразила Наташа: – Там, на улице... люди умирают... а мы... заперлись на все замки, загородили окна, укрылись потеплее... и не шелохнёмся... Стыдно... Там расстреливают смелых, сильных... которые добывают свободу... Самое великое совершается теперь у нас... Создаётся новый мир...

Ей противостоит резонёрствующий дядюшка, который называет революционеров “шайкой негодяев, нетерпимых ни в каком благоустроенном обществе”. Для спасения порядка от хаоса анархии он призывает прибегнуть к самым суровым карам. Завершается действие тем, что юные Наташа и Петя тайно покидают постылый дом и присоединяются к бастующим...

Примечательно, что переиздание этой драмы под новым заглавием “Дурная кровь (На баррикады)” будет осуществлено в 1923 году издательством “Содрабис”, как значилось на титульном листе, “для театра подростков”. Но то была литография с машинописи, отпечатанная самым малым тиражом. К слову, это единственное художественное произведение Хин, изданное при большевиках.

А вот о следующей подготовленной Хин драме руководитель Малого театра Александр Южин писал ей 20 июля 1910 г.: “Я прочёл “Наследники” с настоящим удовольствием. И понятно. Это чуть ли не первая пьеса из тех, которые я читаю по обязанности, носящая на себе печать вкуса и изящества письма. А кроме того, она интересна по коллизиям, лица живые... и даже новые и оригинальные”. В начале 1911 года в Петербурге текст драмы “Наследники” был напечатан. А свет рампы пьеса увидела в Московском Малом театре 12 октября 1911 года, до 2 ноября состоялось 9 спектаклей, после чего в результате шумного скандала драма была снята с репертуара. Но обратимся к самой пьесе.

У прикованного подагрой к креслу престарелого мультимиллионера Романа Ильича Волькенберга, выкреста из евреев, прежде властолюбивого дельца, а ныне – умиротворённого мудреца с лицом и речью Лессинговского Натана, две категории наследников. С одинаковой страстностью, но с разными целями они грезят об этих презренных, но так хорошо пахнущих миллионах. На одной стороне – вся проживающая не у дел семья тайного советника Дмитрия Лузгинина, его жена Дарья Михайловна и его дочь от первого брака, княгиня Софья Чемезова, главная мечтательница о еврейских деньгах. На другой – дочь этого Лузгинина, только от его первого брака, Варвара. Она осталась в девушках, хотя ей перевалило за тридцать, и в Лузгининской семье играет роль Золушки, но Золушки, которая себе на уме и проста лишь на вид.

Надо заметить, что описание дворянской семьи, грезившей о миллионах, разрабатывался Хин и ранее. В повести “На старую тему” (1890) показаны родовитые дворяне. Некогда богатые, но совершенно разорившиеся, они не в силах отказаться от прежних вкусов и привычек, от бахвальства своим ветвистым родословным древом. Все грызутся, сваливают вину друг на друга: отец негодует на всех, скрывается от них с томиком Золя; мать пишет бесконечные романы и пьесы в идиллическом вкусе с прологом и эпилогом, которые никто не печатает; а сын, успевший наделать долгов на 40 тысяч рублей, язвит всех своими остротами и с горя, что нет шампанского, напивается сивухой. К несчастью, их мечты о миллионах совершенно утопичны.

Не то Лузгинины. По словам критика Натана Эфроса, “их родовитое обнищание – обнищание и материальное и духовное, и родовитая жадность до миллионов... даже забрызганных грязью еврейского происхождения, – всё это наблюдается и передано верно, и имеет свою бесспорную художественную ценность”.

Хин удивительно точно раскрывает презрительно-брезгливое и вместе с тем заискивающее отношение к еврею. Критики отмечали, что “старик Волькенберг отлично удался г-же Хин”. Образ его не банален, это чрезвычайно привлекательный персонаж с богатым, сложным духовным миром, и потому сразу же приковывает к себе внимание. К искусству автора присоединилось и искусство исполнителя. У превосходно игравшего эту роль Александра Южина “и отличный внешний облик, национальный без преувеличенности, живописно старый и отличный тон умиротворённой мудрости и охлаждённых чувств, однако зажигающих и теперь ещё иной раз в глазах яркий блеск... С полной чёткостью проступали выразительность и простота, все элементы души этого старика, с большою волею и большим умом” (Студия, № 3, 1911).

Вообще, финансист Волькенберг становится положительным героем. Если принять во внимание, что прежде ходульная фигура еврея-ростовщика служила в русской литературе, да и в произведениях самой Хин мишенью самой едкой и беспощадной сатиры, в этом её несомненное новаторство.

Драма вызвала отрицательную реакцию литератора Власа Дорошевича, который назвал её “шаблонная стряпня г-жи Хин”. А вот историк театра Виктория Левитина рассматривает “Наследников” в ряду “еврейской драматургии”, внесшей в русскую литературу важную национально-общественную проблематику. Об этом, кстати, свидетельствовал и журнал “Театр и искусство” (1913), утверждая, что “самые модные темы – еврейские темы. Самые хлебные пьесы – пьесы с еврейской начинкой”.

На премьере “Наследников” не обошлось без инцидента. Журнал “Театр” сообщил: “Скандал в Малом театре на представлении пьесы Хин “Наследники”... Тенденция автора пьесы не понравилась братьям Прохоровым [владельцам Прохоровской мануфактуры – Л.Б.]. Вооружившись свистками и сиренами и заняв по купонам верхние места, при первом появлении на сцене Александра Южина-Волькенберга, они устроили грандиозную обструкцию со свистом, гиканьем и улюлюканьем”. Полиция вывела дебоширов из зала, и спектакль продолжился при горячем одобрении публики.

Но в правой прессе появились статьи в поддержку хулиганов, избличающие театр в отсутствии патриотизма. Газета “Земщина” (1911, № 7) поместила хулигельную статью под названием “Жидовская пьеса”. Другая газетка “Голос Москвы” (1911, № 250) в заметке под заглавием “Стыдно!” возмущалась тем, что “гнусная пьеса, оскорбительная для русских, ставится на императорской сцене, старательно разыгрывается русскими актерами, а со стороны публики, терроризированной или развращенной инородческой левой печатью, не встречается или почти не встречается протеста”. Им вторили и “Московские ведомости”, которые возмущались пьесой “русской еврейки Хин, проникнутой фанатической ненавистью к русским аристократам”. “Наследники” сразу же вошли в проскрипционный список “Союза русского народа”. Шовинисты не уставали повторять, что “на сцене вместо православия, самодержавия и русской народности воцарились безбожие, безвластие, космополитизм”, указывая на “вопиющий” пример: вместо “Ильи Муромца” идут “Мирра Эфрос” и “оскорбляющие русское национальное самолюбие “Наследники” Р.Хин”. И сетовали, что театры не желают ставить, а газеты – рецензировать антисемитские пьесы и, несмотря на усердные хлопоты крайне правых организаций, они остаются без сцены.

Всё это возымело действие, так что Московский отдел Всероссийского театрального союза в письме от 5 ноября 1911 года обращал внимание директора Императорских театров Владимира Теляковского на то, что “Наследники” представляют собой “сплошную злостную карикатуру на родовитую русскую семью, с одной стороны, и идеализацию еврейства в лице банкира, с другой стороны”. Это привело к тому, что вскоре пьеса была запрещена. Уже 21 ноября 1911 года Рашель Хин писала во Францию Максимилиану Волошину: “Пьесу “Наследники” сняли в Малом театре по приказу из СПб. (под нажимом Союза русского народа). Нельзя ли устроить её на какой-нибудь парижской сцене? Не возьмётесь ли за хлопоты о переводе и постановке?”. О дальнейшей судьбе “Наследников” – последней драме писательницы – сведений нет. В 1913 году Хин писала: “..‘Наследники’ были сняты за оскорбительное изображение дворянства!”.

Впоследствии, уже после Февральской революции, в Москве в 1917 году будет напечатано третье издание пьесы Хин “Ледоход”, на сей раз под именем автора и с подзаголовком: “Драма из эпохи освободительного движения 1905 года”. Она вышла в типографии знаменитого издателя и культуртрегера Анатолия Ивановича Мамонтова (1839–1905), в то время принадлежавшей его сыну, Михаилу Анатольевичу (1865–1920), человеку оппозиционных взглядов, печатавшему газету “Борьба”, орган лекторской группы ЦК РСДРП, а также труды Карла Радека и “Известия Совета Рабочих депутатов”. Впрочем, это издание пьесы Хин выглядело весьма неказисто: блёклый машинописный текст, напечатанный литографским способом.

Драматургическое творчество Рашели Хин – безусловное явление в русской культуре. Она точно чувствовала пульс времени и именно в драме – наиболее конфликтном виде литера-

туры – воплотила борения молодого поколения с ошетинившейся реакцией, требования угнетённых и обездоленных, настроения и чаянья героев первой русской революции. Созданная ею галерея оригинальных художественных портретов представляет уникальный срез российского общества, схваченный на самом переломе истории.

\* \* \*

С легкой руки писателя Петра Боборыкина, Хин получила прозвище “маркиза де Рамбуйе”. Современники и впрямь находили в ней сходство с Катрин де Вивон де Рамбуйе (1588–1665), хозяйки отеля “Рамбуйе”, “самого приятного уголка Парижа”, где собирался весь литературный бомонд и составлялось мнение, которое “становилось общеобязательным”.

Важно то, что сама Рашель Хин говорила о русской традиции, а именно, о приметных женских салонах XIX века. Вот ее отзыв о княгине Зинаиде Александровне Волконской (1789–1862): “Литературные знаменитости и политические деятели окружали Зинаиду Александровну. Она была покровительницей талантов, а ее дом – храмом искусства”.

Как отмечал литературовед и библиограф Семен Венгеров, некоторые произведения Рашели Хин “посвящены изображению русских интеллигентных кружков в России и за границей”.

Кружковая жизнь русских эмигрантов в Париже вообще видится писательнице в самых мрачных тонах. Об этом свидетельствует ее очерк “Силуэты”, где представлены люди, искаленные душевно, мятущиеся, – те, которые что-то устраивают, расстраивают, восторгаются, возмущаются, нячнутся с детьми, ходят за больными, приискивают квартиры для знакомых, участвуют в беспрерывно нарождающихся и скоропостижно умирающих обществах. Выведен здесь и виршеплет Грибков, у которого “вся душа полна собой”; о прочих поэтах он говорит, “скосив рот в сторону”, похваляется знакомством с Виктором Гюго и пишет поэму “Самубийцы”. Пишет, надо думать, бездарно, но тема весьма и весьма злободневна: “Все погибшие. Некуда голову приклонить: ни вперед, ни назад... На всём разлита печать безнадежности!” – восклицает героиня очерка, когда кончает с собой ее воздыхатель, эмигрант Цвилинев...

Рашель Хин многожды присутствовала на всякого рода светских мероприятиях и за границей, и на родине. Но живого интереса они, как правило, у нее не вызывали. Вот как отозвалась она об одном из таковых: “Вчера до 4-х часов сидела у Д. Только в Москве можно так терять время. Сидят неподвижно за столом, пьют без конца кислое кавказское вино, закусывая сардинками, копченой колбасой и скверным сыром, говорят все зараз, дамы визжат и хохочут. Если б не актер Качалов, отлично рассказывавший очень глупые анекдоты, можно было бы заснуть от скуки. И это считается ‘политическим, литературным и артистическим салоном!’”

А вот ее впечатления о “поэзовечере” Игоря Северянина: “О нем столько говорят (среди претенциозной кучи его порнографических ‘поэз’ есть несколько талантливых стихов) – и мне любопытно было посмотреть и послушать этого нового кумира. Впечатление отвратительное. Это уныло-циническая ‘поэза’ кафешантана – и при этом совершенно русского... Ни искры остроумия и легкого веселья французских cabarets. Простоволосая, тоскливая ‘муза’ собственной ресторации под вывеской ‘на все наплевать’!.. Этот Игорь поет свои стихи каким-то гнусавым цыганским речитативом. Напев для всех ‘поэз’ один, меняется – смотря по размеру стиха – только темп этого гнусавого речитатива... Он несомненно талантлив, но вычурен и нахален бездельно... Гимназисты, гимназистки, студенты, курсистки, почтенные дамы и старики... и все это неистово аплодирует. Вопли: Bravo! Бис! Ананасы в шампанском. Просим”.

По счастью, среди многочисленных столичных литературных салонов нашелся, наконец, один, доступный ее сердцу и уму. То были воскресные утренние журфиксы на квартире ее старшего друга, Николая Стороженко (Оружейный пер., впоследствии Арбат, Малый Николо-

Песковский пер.), ставшие в 1880-1900-е гг. центром не только для московской, но и всякой заезжей в древнюю столицу русской интеллигенции.

Между прочим, именно у Стороженко состоялась встреча Хин и Онисима Гольдовского с Львом Толстым. Последний “особенно ласков был с Онисимом Борисовичем, которого он, по-видимому, принял за единомышленника”. Хин вспоминает: “Онисим Борисович заиграл мою любимую сонату Шопена. Лев Николаевич прислушался, заметил: ‘Хорошо играет’, – спросил: ‘Артист?’ – и очень удивился, услышав, что это присяжный поверенный. Посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: ‘То-то я вижу, умники’. Мне стало очень смешно. Толстому так понравилась музыка Онисима Борисовича, что он прошел в залу, сел на стул около рояля и слушал, пока не кончилась пьеса. ‘Мне нравится, что у Вас не консерваторская игра’, – заметил Толстой.

Достали ноты, и Онисим Борисович долго играл разные вещи Бетховена. Толстой, стоя, сам переворачивал листы, то одобрял, то говорил: ‘Это не стоит’. Расстался с нами Толстой очень ласково, сказал, что непременно хочет нас повидать”.

Многие гости журфиксов Стороженко станут потом завсегдатаями литературно-музыкального салона Хин, мысль о котором овладела Рашелью Мироновной, когда ей еще не было и тридцати лет. В ее дневнике от 1 февраля 1892 года есть запись о беседе с женой литературоведа Алексея Веселовского, Александрой Адольфовной, известной в свое время переводчицей: “Как-то я ей сказала, что хорошо бы устроить в Москве небольшое общество (терпеть не могу слово ‘кружок’), которое бы интересовалось литературой как таковой, без коммерческих соображений”. На что та ее высмеяла, отговорившись, что таковое права на существование не имеет: серьезные писатели в нем не нуждаются, а, следовательно, оно вырождается в посиделки дилетантов, вроде Урусова, Танеева и Минцлова. “Что могла я ей возразить? – парировала Хин. – Что Урусов – блестящий оратор и глубокий знаток художественных произведений, что Минцлов – живая литературная энциклопедия, а Танеев, при всех своих чудачествах, – один из самых образованных в России людей”.

И вот салон Рашели Хин открыт. Что же он собой представлял? Известно, что она принимала гостей по вторникам в своей московской квартире по адресу: Староконюшенный пер., д. 28. “Эти литературные вечера, дни и беседы – такое наслаждение!.. Всем приятно, легко и свободно”, – отметила она в своем дневнике. Интеллектуальную атмосферу ее салона и запечатлел Максимилиан Волошин, к которому наша героиня всегда относилась с дружеской нежностью, хотя и не принимала его “аффектацию”, “ненатуральность”, вычурный тон и манеру говорить, читать стихи, – одним словом, “декадентщину”.

Волнует эхо здесь звучавших слов...  
К вам приходил Владимир Соловьев,  
И голова библейского пророка  
(К ней шел бы крест, верблюжий мех у чресл)  
Склонялась на обшивку этих кресл...  
Творец людей, глашатай книг и вкусов,  
Принесший вам Флобера, как Коран,  
Сюда входил, садился на диван  
И расточал огонь и блеск Урусов.  
Как закрепить умолкнувшую речь?  
Как дать словам движенье, тембр, оттенки?  
Мне памятна большого Стороженки  
Седая голова меж низких плеч.  
Всё, что теперь забыто иль в загоне, —  
Весь тайный цвет Европы иль Москвы —  
Вокруг себя объединяли вы:

Брандес и Банг, Танеев, Минцлов, Кони...  
Раскройте вновь дневник... гляжу на ваш  
Чеканный профиль с бронзовой медали —  
Рука невольно ищет карандаш,  
А мысль плывет в померкнувшие дали...  
И в шелесте листаемых страниц,  
В напеве слов, в изгибах интонаций  
Мерцают отсветы бесед, событий, лиц...  
Угасшие огни былых иллюминаций...

Этот художественный текст интересен, прежде всего, как ценный культурно-исторический документ о салоне Хин. Его гостеприимная хозяйка тонко и умно вела беседу, вовлекая слушателей в живой разговор. Она прекрасно декламировала, более всего стихи Фета, Майкова, Соловьева. Все восторгались ее “простотой при чтении стихов и большой выучкой”. Не исключено, что Владимир Соловьев, которого считают предтечей русского символизма, выступал у Хин и со своими стихами.

Бывал в салоне и князь Александр Урусов (1843–1900) – прославленный адвокат, непревзойденный оратор, зарекомендовавший себя и как первый знаток и популяризатор творчества Гюстава Флобера, причём не только в России, но и в самой Франции.

Знаменитый шекспировед, одно время председатель Общества любителей российской словесности, Николай Стороженко (1836–1906) владел даром вносить в жизнь салона светлую поэтическую атмосферу. Превосходно читал стихи, которых знал великое множество. Для Хин Стороженко – “один их мирских печальников, благодаря которым и жива Россия”.

Влияние Стороженко испытал на себе даже датский литературовед, публицист, теоретик натурализма Георг Брандес (1842–1927), также бывавший в салоне. Хин неоднократно встречалась с ним и в Финляндии, и в Москве, а также перевела его миниатюру “Россия”.

Весьма известен в России был и другой датский писатель, директор театра в Берлине, эссеист Герман Йохим Банг (1857–1912). Банг искал оригинальности и писал “новым смутным образом”, в чем критики видели приметы импрессионистического стиля. Нередкий гость в России, Банг не обошел вниманием и салон Рашели Хин.

Еще один посетитель салона – Владимир Танеев (1840–1921), оригинальный мыслитель, библиофил; он собрал богатейшую (20 тыс. томов!) библиотеку с бесценными раритетами. Особенно широко были в ней представлены издания детской литературы, что Хин (автору рассказов “Макарка” и “Феномен”) особенно импонировало. Между прочим, Танеев любил показывать подаренный ему Карлом Марксом фотопортрет с надписью “преданному другу освобождения народа”. И хотя в своих речах Владимир Иванович нередко скатывался до самого вульгарного материализма, слушать его всегда было интересно.

Рудольф Минцлов (1845–1904) – полиглот, обладатель уникального книжного собрания, серьезно занимался историей, философией, гражданским правом, политэкономией и даже высшей математикой.

А вот блистательный адвокат, “златоуст”, как его называли, Анатолий Кони (1844–1927) был подлинным фейерверком салона Хин. Кони великолепно читал стихи, особенно Пушкина, перед которым благоговел, называя его величайшим гением России и даже ее оправданием перед миром. Любил читать произведения Тургенева, говоря, что Лукерья в “Живых мощах” – это кристалл народной красоты. Для Хин Кони навсегда остался “Учителем нравственного общежития”.

Алексей Толстой (1883–1945) в своем дневнике 2 марта 1913 года сообщил, что на вечере у Хин собиралось не менее 50 человек и назвал в числе прочих Южина, Лопухина и Володю Л[ебедева]. Кстати о Толстом, непременном участнике ее “вторников”, она отозвалась так:

“Он совсем прост, свободен, смеется, острит, горячится, путается в теоретических фиоритурах Макса, желает с 5-ю молодыми драматургами учиться, ‘как надо писать пьесы’, и т. д... Из всех звезд современного Парнаса [он] произвел на меня самое приятное впечатление”. Со знаменитым актером, управляющим труппой Малого театра Александром Южиным (Сумбатовым) (1857–1927) Рашель Мироновну связывали не только творческие, но и дружеские отношения. Весьма колоритной личностью был и другой завсегдатай салона – князь Алексей Лопухин (1864–1928), который в 1909 году был судим царским правительством “за разоблачение перед преступным сообществом” действий агента царской охраны Азефа. Актер Малого театра Владимир Лебедев (1871–1952), рассказчик уморительных сенок и анекдотов, продолжатель традиции знаменитого Ивана Горбунова.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.